

Дмитрий Быков  
ОРФОГРАФИЯ  
*опера в трех действиях*



# Дмитрий Львович Быков

## Орфография

[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=133011](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=133011)

Быков Д. Орфография: Вагриус; М.; 2003

ISBN 5-264-00741-1

### Аннотация

Дмитрий Быков снова удивляет читателей: он написал авантюрный роман, взяв за основу событие, казалось бы, «академическое» – реформу русской орфографии в 1918 году. Роман весь пронизан литературной игрой и одновременно очень серьезен; в нем кипят страсти и ставятся «проклятые вопросы»; действие происходит то в Петрограде, то в Крыму сразу после революции или... сейчас? Словом, «Орфография» – веселое и грустное повествование о злоключениях русской интеллигенции в XX столетии...

Номинант шорт-листа Российской национальной литературной премии «Национальный Бестселлер» 2003 года.

## Содержание

Предисловие к первому изданию	4
ПРОЛОГ	5
Действие первое. Желтый чорт	8
Конец ознакомительного фрагмента.	90

# Дмитрий БЫКОВ

## ОРФОГРАФИЯ

### (опера в трех действиях)

*Льву Мочалову*

*«И началась опера в трех действиях»*  
**Исаак Бабель**

## Предисловие к первому изданию

Принадлежность «Орфографии» к жанру оперы предполагает ряд особенностей: вставные номера, дивертисменты, длинные арии, театральные совпадения, условности и пр. Классические оперы давно изданы на компакт-дисках в облегченном виде – увертюра, пять-шесть лучших арий, кульминация, финал. К сожалению, у автора нет возможности издать свою прозаическую оперу в двух вариантах, – к тому же ему видится в этом априорное неуважение к читателю. Поэтому, стараясь сделать сочинение удобным для широкой аудитории, он выделил курсивом места, которые можно пропускать без большого ущерба для фабулы, а полужирным шрифтом – те, которые сам он относит к «хитовым».

На естественный вопрос, почему бы всю оперу не сделать хитовой, а заодно не убрать заранее фрагменты, выделенные курсивом, – автор вправе отметить, что, во-первых, ни одна опера не может состоять из концертных номеров, а во-вторых, без курсивных отрывков сочинение лишилось бы смысла. Даже тот, кто почувствует скуку при первом знакомстве с ними, впоследствии сможет вернуться к этим главам и перечесть их в свободное время, уже зная, чем все закончилось. Для читателя, которому интересна описываемая эпоха, «Орфография» не представляет никаких затруднений, а потому он попросту проигнорирует игры со шрифтами, прочитав книгу от начала и до конца, как она написана. Нелепо было бы сочинять роман о самом избыточном и условном в человеческой жизни, освобождая этот роман от всего избыточного и условного – в котором автор и протагонист только и видят Божественное присутствие.

Дмитрий Быков,  
Москва, май 2002 года

## ПРОЛОГ

Реформа русской орфографии 1917-1918 годов проходила в три этапа. Наметилась она почти сразу после петровской (1709) переделки алфавита и вызывалась соображениями, какими с начала времен руководствуются все упростили. Прежде всего из алфавита следовало изъять буквы, у которых не осталось звукового аналога: после того как Петр бестрепетно выкинул из азбуки омегу и пси (введя «я» и «э»), на очереди двести лет стояли ер и ять.

Ять до четырнадцатого века (когда в летописях стали встречаться первые ошибки по его употреблению) обозначал нечто среднее между «е» и «и», но фонетической роли давно лишился. Без ера в своих писаниях уже в начале XIX века обходились многие вольнодумцы. Перечисляя в «Бесах» темы русского спора при начале очередной оттепели, Достоевский упоминает «уничтожение цензуры и буквы ь, замена русских букв латинскими, вчерашнюю ссылку такого-то, какой-то скандал в Пассаже, полезность раздробления России по народностям с вольною федеративною связью, уничтожение армии и флота, восстановление Польши по Днепр, крестьянскую реформу, уничтожение наследства, семейства, детей и священников, права женщины...».

Легко видеть, что из этого перечня со временем осуществилось почти все, кроме уничтожения детей, хотя и в этом направлении предпринимались определенные усилия. Алданов в «Истоках», опираясь на цитированный фрагмент, заставляет Достоевского предсказывать, что отменят букву ять – и все пойдет к черту. Ситуация осложнялась отсутствием смысловых правил к употреблению ятя.

Подготовительный этап реформы начался в 1899 году, когда собралась Первая орфографическая комиссия при Московском университете. Вторая комиссия функционировала в 1901 году, тоже при университете, но уже Казанском; почти одновременно с ней возникла третья, при Новороссийском. Предложения комиссий широко обсуждались учеными и учителями (главным аргументом в пользу реформы правописания была именно трудность и кажущаяся бессмысленность усвоения русской орфографии, ее недоступность простонародью, низкая успеваемость гимназистов). В 1904 году подкомиссией Академии наук под председательством Ф.Фортунатова было разработано «Предварительное сообщение» о готовящейся реформе.

Академию наук тогда возглавлял либеральный великий князь Константин Романов, более известный как слабый поэт и драматург К.Р. Он лично стал во главе комиссии по реформе правописания, которую собрал впервые в достопамятный день 12 апреля (ст.ст.). На следующий день собралась подкомиссия, сформированная для разработки конкретных предложений по реформе. Ее центром были А.Шахматов и Ф.Фортунатов – крупнейшие специалисты по истории русского языка. Как всякие историки, они обращали внимание прежде всего на тенденцию: письменная речь во всем мире год от года теснее смыкается с устной, лишние буквы и тяжеловесные обороты отпадают, а торжествует здоровая простота.

Предложения были радикальны. Первое: никакого ятя. Второе: долой ер, причем не только после согласной в – конце слова, но и после приставки, где вполне можно обходиться мягким знаком («въехал», «съел»). Третье: в словах типа «рожь», «мышь», «точь-в-точь» – а равно и в инфинитивах «лечь», «мочь», «влечь» – мягкий знак давно не нужен: «ч» и «щ» и так всегда мягкие, а что мышь женского рода – знает, слава Богу, вся мыслящая Россия. Безударные окончания прилагательных в родительном падеже единственного числа («-аго», «-яго») должны приблизиться к ударным: рослОго, лишнЕго. Унифицируются окончания прилагательных во множественном числе (прежде, согласно правилам, в женском роде писа-

лось «-ия», «-ыя»: веселыя ежихи, но веселые ежи). Наконец, приставка «без» перед глухой согласной должна писаться как слышится («беспольный», «беспольный»). И, конечно, везде, где после шипящих под ударением слышится «о», следует так и писать: шопот жолтого чорта.

Авторы реформы были поражены силой сопротивления, с которым столкнулась подкомиссия после публикации своих предложений; заметим, что в нее входили авторитетнейшие люди – в частности, Бодуэн де Куртенэ и несколько представителей духовенства. Первым резко высказался Александр Суворин, издатель и редактор «Нового времени». Следом некий Тиляров-Платонов оперативно написал целую брошюру, в которой перегнул палку уже в другую сторону: он так испугался новшеств, что предложил восстановить оба юса – большой и малый, – исчезнувшие еще в XV веке. Свое предложение он мотивировал тем, что юсы делают русский язык более усвояемым для поляков и белорусов. Поляков и белорусов никто не спросил. Громче всех против реформы возражал обер-прокурор Синода Победоносцев. Неожиданно подключился враг условностей Толстой: десятки русских газет перепечатали интервью, в котором он неубедительно, но горячо излагал аргументы против нового правописания. Главный заключался в том, что он привык читать быстро, ухватывая взглядом все слово, а тут меняется этого слова портрет, его знак. Он сам понимал, что аргумент слабый: привыкнуть недолго. Во время беседы с корреспондентом подошел его сын Сергей, добавивший собственные, тоже не слишком рациональные соображения, – Толстой обрадованно поддержал: «Да, прекрасно!» Комиссия, смущенная размахом противодействия, отступила. Ей напомнили, что в том же 1904 году министр внутренних дел Сипягин издал специальный циркуляр, в котором запрещал издание книг без еров, приравняв их к революционной пропаганде. Как знать: если бы министерство внутренних дел в 1904 году уделяло меньше внимания орфографии, избрав иные приоритеты, – судьба русского правописания впоследствии могла быть иной.

В 1910-е годы Шахматова занимали сугубо научные проблемы, Фортунатов умер перед Первой мировой войной, – но реформа правописания, уйдя с повестки дня, оставалась мечтой гимназистов и приобрела в их сознании неизбежную революционную окраску. В канун революции, 10 февраля 1917 года, когда в столице собрался Первый Всероссийский съезд учителей русского языка, первым обсуждавшимся вопросом оказалась, естественно, орфография. Многие гимназисты вспоминают, что учителя в это время перед ними заискивали. Съезд единогласно проголосовал за реформу, но ввиду бурных событий конца февраля, когда по всему городу впервые за двести лет его существования выстроились хлебные очереди, реализация ее снова отодвинулась на неопределенное время.

Второй этап реформы русской орфографии начался 23 декабря 1917 года. Декрет за подписью Луначарского отменял «лишние» буквы (ять, фиту, ижицу, и десятиричное), оставляя за ером только разделительные функции – видимо, по причине актуальности любых разделений. Луначарского и в большевистской верхушке всерьез воспринимали немногие, так что все газеты, кроме большевистских, продолжали печататься по-старому. «Никто даже ухом не повел», – обиженно вспоминал наркомпрос. После этого он пришел к выводу (не такому уж абсурдному), что половинчатые меры в эпоху столь масштабных преобразований перестали восприниматься массовым сознанием. 5 января 1918 года появился декрет Совнаркома, упразднявший орфографию как таковую по причине ее дискриминационной сущности. Отмена правил правописания и пунктуации воспринималась не только народом, но даже радикальной частью интеллигенции как уничтожение барьеров, искусственно воздвигнутых на пути «низового элемента» к просвещению. Отстаивание правописания представлялось радикалам «попыткой проташить угнетение под видом правил» («Правда», 9 января 1918). Яростная дискуссия по этому формальному, казалось бы, поводу, особенно трогательная в голодном и осажденном городе, привела к образованию 12 января 1918 года Елагин-

ской коммуны – одного из самых причудливых явлений русской жизни даже на фоне тогдашней экзотики.

История Елагинской коммуны, изучена слабо: после событий в ночь на 15 мая 1918 года о ней предпочитали не вспоминать как сторонники, так и противники. Советская историография вовсе обходила ее стороной, эмигрантские круги мало что знали, а поскольку из самой этой группы почти никто не уцелел, достоверных источников не осталось. Краткое и половинчатое мемуарное свидетельство в белградском сборнике 1927 года «Катакомбы», вышедшем в количестве трехсот экземпляров, да неопубликованная переписка историка Льва Покровского с Марией Ашхарумовой – все, чем мы располагаем. Архивные разыскания позволили присоединить к скудному списку лишь несколько мемуарных очерков и косвенных упоминаний – подневольных, как бы сквозь зубы. Отголоски елагинской истории можно найти в романе «серапиона» Всеволода Иванова «Кремль», написанном в начале тридцатых, но опубликованном только в 1990 году. Важные штрихи к смутной картине добавляет неоконченный фантастический роман беллетриста Ростислава Грэма «Желтый город», сохранившийся в его гурзуфском архиве.

15 мая 1918 года распоряжением ЦИК «Об упорядочении» начался третий этап реформы русской орфографии, совпавший с первой волной террора и призванный обслужить ее на идеологическом уровне. Такой период неизбежен в развитии любой революции, начинающей с отмены всех условностей и заканчивающей воцарением одной, самой иезуитской и нелепой, а потому наиболее соответствующей образу абсолютной власти. Этот период закончился в октябре, когда после принудительного изъятия из типографий всех еров, ятей, фит и ижиц русская орфография приобрела нынешний вид. Отдельные попытки ее реформирования в конце пятидесятых – начале шестидесятых годов захлебнулись на стадии печатного обсуждения; хочется верить, что захлебнутся и нынешние.

Автор благодарит Вадима Эрлихмана (Москва), Льва Мочалова (Санкт-Петербург) и Андрея Давыдова (Гурзуф) за неоценимую помощь в работе над книгой, которую посвящает памяти беллетриста Грэма (Кремнева). Именно Грэм должен был написать этот роман – и непременно закончил бы его, если бы не у мер от истощения в оккупированной Ялте 26 января 1942 года.

## Действие первое. Жолтый чорт

*Бело-серый бледный бес  
Убежал поспешно в лес  
Белкой по лесу он бегал,  
Редькой с хреном пообедал  
И за бедный сей обед  
Дал обет не даласть бед*

### **Запоминалка на «ять»**

*Оказалось, что надо построить огромный дворец на берегу моря или хотя бы Москва-реки... м-м-даа... дворец из стекла и мрррмора... и а-л-л-люми-иния... м-м-мда... и чтобы все комнаты и красивые одежды... эдакие хитоны, – и как его? Коммунальное питание. И чтобы тут же были художники. Художники пишут картины, музыканты играют на инструментах, а кроме того, замечательнейшая тут же библиотека, вроде Публичной, и хорошее купание. И тогда рабоче-крестьянскому пр-р-равительству нужна трагедия или – как ее там? – опера... И в каждой комнате обязательно умывальник с эмалированным тазом.*

**Вячеслав Ходасевич**

*Он снял с пальца старинное дорогое кольцо, не без основания размышляя, что может быть, этим подсказывает жизни нечто существенное, подобное орфографии.*

**Александр Грин**

## 1

Ранней осенью 1916 года в Петрограде появились странные люди. Им всегда было холодно. Никто не знал, откуда они взялись. Матросы ходили в черном, солдаты в сером, а эти не пойми в чем. И странно: когда очевидцы тех событий, обитатели Питера в самые темные его дни, сходились повспоминать (чтобы скудная пища и уязвимый уют любого другого времени показались им райскими на фоне той поры), странных людей помнили все, а вот как они были одеты – сказать не мог никто. Тогда стало понятно, откуда Смутное время, получило свое название: не в безвластии было дело, а в размытости зрения, внезапно постигшей всех. Словно пелена опустилась на мир, чтобы главное и страшное свершилось втайне. Весною девятнадцатого, в светлый и мокрый день, встретив Грэма на Разъезжей (как оказалось – в последний раз), Ять спросил его: помните вы темных?

– Да, конечно, – с готовностью подтвердил Грэм. Он говорил о них запросто, словно будучи накоротке с силами, их породившими, и умея в случае чего эти силы заклясть.

– Я все думаю: куда они делись? Не может же такого быть, чтобы их использовали только как исполнителей, а потом в один день перестреляли всех.

– Не может, – снова кивнул Грэм. – Зачем же стрелять исполнителей?

– Чтобы не увлеклись. Мало ли, не остановятся вовремя, повернут штыки против власти...

– Исключено. Им нужна живая власть. Будет власть – будет и еда, а значит, их и не сожрут.

Этого Ять не понял, но уточнять не стал. Расспрашивать Грэма было бесполезно.

– И куда они пропали?

– Как – куда? – Грэм даже развел руками, словно изумляясь, что его спрашивают о таких очевидных вещах. – Развоплотились обратно, и вся тайна. Миновала опасность, они и превратились.

– Превратились? – переспросил Ять. – И в кого, интересно?

– В крыс, в кого же еще. Так не бывает, чтобы воплотился из одного, а развоплотился в другое. Если из неживой природы, тогда еще были случаи, Тиволиус описывал. Из ведра, допустим, в свинью, а из свиньи в скамейку. Но чтобы из крысы в человека, а потом, скажем, в рыбу – это совершенно, совершенно исключено.

Он говорил об этом деловито, как о заурядных технических подробностях, и Ять в который раз подивился способности этого невероятного человека сочинять себе сказку по любому поводу. Неправы были те, кто считал Грэма неприспособленным чудаком. Из всех чудаков, населявших город, этот был самым приспособленным, поскольку стена прихотливой изобретательности защищала его от любой правды. Не зря настоящая фамилия его была Кремнев (первый рассказ он напечатал еще под псевдонимом Крем, но это ему не понравилось; он стал Грэмом – звучало экзотически, капитански). Теперь Грэм проживал очередной рассказ – в манере, к которой Ять никак не мог привыкнуть. Стало интересно.

– А воплотились почему? – спросил он.

– Чтобы не съели, – убежденно сказал Грэм. – Еще бы чуть, всех переловили бы. А так не тронули. Крысу съесть проще, чем человека. Противно, но можно. Я в Одессе ел.

– А я нет, – признался Ять. – Кстати, я тут стал вспоминать... впервые за год, можете представить? Многое помню, а одного никак не могу уяснить: как они были одеты-то? Ведь мы их опознавали сразу!

– Они были одеты никак, – в своей манере выделяя нейтральнейшее слово (он и на письме любил эту внезапную разрядку), отвечал Грэм. – Вы видели на них одежду, которая наиболее соответствовала вашему представлению, и это был морок, наводимый ими без труда, по врожденному свойству.

Так Ять ничего и не выпытал. Про себя он продолжал называть странных людей темными, но не черный цвет ассоциировался с ними прежде всего, а смугло-желтый. Это был цвет их лиц – одутловатых, опухших, какие в прежние времена можно было увидеть только у самых безнадежных нищих. Всех нищих Ять для себя делил на тех, кого еще можно было спасти, и тех, кто ни на что уже не годен. Эти последние, кстати, вовсе не обязательно были больны, изуродованы или одеты в рубище: очень часто они выглядели чуть ли не ухоженными. Только шафранно-желтые лица и черные неподвижные глаза ясно доказывали, что тут уже не сделаешь ничего: перед тобой не жертва обстоятельств, но член тайного союза нелюдей, ни к чему, кроме подпольного существования, не пригодных. И, вспоминая потом цвет их лиц, белков, рук, Ять понимал, почему самый любимый и ненавидимый им поэт в иных случаях, не дожидаясь орфографической реформы, пишет «желтый» через «о»: жолтый. В этом «о» была бездна, дупло, зияние, завывание, страшная, желтая в черном дыра.

Они не говорили ни слова, просто протягивали руки и никогда не благодарили за милостыню. Немыслимо было услышать от них «Спаси Господи». Ять сразу догадался, что подавляя они просят только до поры, используя это занятие не ради прокорма, а для маскировки, как требующее наименьших усилий. Смешны были разговоры о том, что темные наняты большевиками или эсерами, – это было мелко, скучно, мимо сути. Темные не желали никакого переворота. Они ждали только удобного момента, чтобы покинуть подвалы и захватить город – не ради переустройства, дележки или иных жестоких, но понятных целей, а просто в силу своей природы, которую вряд ли сознавали сами. Никто их не пестовал, не растил, не собирал. Они завелись сами, как черви в трупе. Настанет день – и они выйдут из подполья,

возьмут власть и обрушат все; и тщетно будет ждать снисхождения тот, кто подавал больше других.

Об их делах Ять был наслышан – как-никак газетчик, крутился среди репортеров (и, кстати, склонен был уважать эту чернорабочую среду – их, а не его усилиями газета прибавляла тиражей и славы, он был приправой к основному блюду). Репортеры, молодые и впечатлительные, невзирая на показной цинизм бывалых путешественников по питерскому дну, рассказывали о вещах столь ужасных, что их не вмещало воображение. Ять, слава Богу, достаточно читал о преступлениях прошлого, – но те злодеяния получали объяснение, иногда даже слишком рациональное, почти иезуитское. В Питере же с шестнадцатого года стали случаться преступления именно необъяснимые – словно убийца имел единственной целью уяснить себе, что у жертвы внутри. И, пытаясь потом вспомнить, что таилось в черных глазах на шафранных одутловатых лицах, Ять понимал, что главным в них было любопытство. Такое выражение он видел однажды на лице ребенка, который, склонив голову набок, улыбочиво наблюдал за тем, как кошка расправляется с мышью.

Темные не жили поодиночке – они собирались в подвалах и на пустырях, варили там жуткое варево, там же и спали вповалку, делили одежду жертв, сдавали деньги в общую кассу или жожаку (должен быть жожак, чудовищный, вроде муравьиной матки, не приведи Бог никому увидеть его), – и были в городе места, куда лучше не соваться. Когда на окраине в очередной раз нашли изувеченный труп – голова отрезана, вся кровь выпущена, – репортеры снова загомонили о ритуальных убийствах: начиная с дела вотяков, во всяком бессмысленном злодействе искали ритуал.

– Не там ищите, – сказал тогда Ять молодому Стрелкину, славному, расторопному малому, который от назойливой семейной опеки то и дело сбегал в трущобы, заводил агентуру среди извозчиков и вообще по-детски пинкертоновствовал. – Секту ему подавай. Нет никакой секты, все страшнее и проще. Нищих замечали?

– Что значит – замечал? На каждом углу торчат...

– Я не про обычных. У этих темно-желтые лица.

– Ять, ничего вы не знаете, книжный человек. Это обычное следствие алкоголизма, в почках что-то начинает вырабатываться – или, наоборот, перестает. Побегали бы по питерским трактирам, сколько я, – и не то бы увидели.

Это умилило Ятя. Он поглядел на Стрелкина ласково:

– Коленька, сколько вам лет?

– Девятнадцать, но это ничего не значит.

– Да конечно, не значит. Побегал он. Вы бы к ним присмотрелись. Сдается мне, что они не совсем люди.

– Конечно, не совсем. Отбросы, придонный слой.

– Ах, милый друг, – вздохнул Ять, – ничего вы не понимаете. Что с того, что придонный слой? В нем-то, может быть, и водятся особые существа. Я раз в Ялте видел, как морского змея поймали. Плаваешь, а ведь и подумать не можешь, что на дне такая тварь водится. Люди давно уже разделились – поверху одни, на глубине другие.

– И что? Вы хотите сказать, что это нищие убили?

– Ничего не хочу сказать, Коленька, только допускаю. Вы сектантов не знаете, а я ими лет пять занимался, донныне плююсь. Они публика нервная, кошку убить не решаются. Во глубине России, может, и иначе, но тут-то наши, питерские. Нет, тут убийство хладнокровное, без совести, без колебаний, – из чистого любопытства. Впрочем, мы сами виноваты: вытеснили столько народу на дно – они и расчеловечились естественным порядком.

– Да вы тайный эсдек.

– Боже упаси. Я за неравенство, только в пределах. Иначе те, что на самом верху, и те, что в самом низу, – теряют человеческий облик, не находите? Посмотрите на Мудрова (Муд-

ров был купец, фантастический богач; считалось общим местом, что он помогает террористам, хотя никто этого не доказал. Зато хорошо было известно, – он и не скрывал этого особенно, – что он живет, как с женой, с пятнадцатилетней племянницей, и это не мешало ему жертвовать огромные деньги на монастыри, а монастырям – с благодарностью принимать). Такой почти богом себя чувствует, вот и дурит, испытывает Божье терпение. А другие – это, как вы изволите выражаться, дно. наших дураков послушать – на дне знай Ницше читают да о вере спорят. А они давно уже не люди, и разговоры у них не человеческие. Только и ждут, когда мы совсем ополоумеем, тут и выйдут потрошить встречающих. И никакая это будет не социальная революция, а в чистом виде биология.

Разговор этот имел интересное продолжение. Ять давно забыл о нем, – он легко разбрасывал сюжеты, – когда месяца три спустя в редакции его остановил встрепанный Стрелкин.

– Ять, заняты?

– Только что обзор дописал.

– Выйдем, я не могу тут говорить.

Они зашли в чайную на Среднем проспекте – знаменитую, давно облубованную газетчицами, запросто привечавшую и «биржевика», и «нововременца», – уселись в углу, спросили глинтвейну, и Стрелкин долго молчал, разглядывая Ятя.

– Интересный вы болтун, Ять, – сказал он наконец. – Врете, врете, а вдруг и правду соврете.

– Так всегда бывает.

– Я вчера от приятеля шел – в университете со мной учился, на юридическом. Я курса не кончил, заскучал, а он остался. Иногда захожу к нему, сестра больно хороша... Они на Преображенском живут, чудесное семейство, засиделся до неприличия. Час, помню, уже третий. Иду я пешком, благо близко, – ночь холодная, мороз щиплет, луна, как блин... навстречу никого... Страх меня какой-то взял, черт его знает. Тени своей пугаюсь. Ну, кое-как дошел. И вижу (дом-то мой уже в двух шагах): в соседнем дворе фигуры мелькают. Что такое? Любопытство, сами знаете... Зашел в подворотню, гляжу – и глазам не верю: Ять, дети! В глухую пору, в три часа... черт разберет! Маленькие, в тряпье, в лоскутках, – играют без единого звука. Обычные-то шумят, галдят, – а эти бесшумно, как звери. Хотя ведь и звери визжат... И с такой злобой толкаются, ставят друг другу подножки, разбегаются и опять сбегаются, кто кого собьет... ужас! А следит за ними взрослый, тоже в тряпье, трех нахлобучен, – зябнет, приплясывает. Иногда, если плохо дерутся, показывает им – как бить побольней.

– Дети? – задумчиво переспросил Ять.

– Говорю вам, дети. Лет по семь, по девять... Пятнадцатый сон видеть должны в такое время, да еще зимой! И знаете – этот-то, с ними, из ваших... я ведь их тоже узнаю, только значения не придавал.

– Из темных?

– Да. Я, конечно, лица не разглядел, но повадку их знаю: они двигаются... как бы сказать? – не совсем по-людски. Будто недавно выучились и не уверены, так ли выходит. Ну скажите на милость, для чего взрослому человеку глухой ночью детей во двор выводить?

– И зачем, по-вашему?

– Похоже, будто учит чему-то. Я у одного лицо разглядел – он ударился сильно, но не плакал. Я люблю детей, когда под ногами не путаются. Но тут... никогда такого ребенка не видел. Ведь в ребенке... всегда невинность, что ли. Этому же было лет восемь, – но лицо этакое... взрослое, все повидавшее, только черты миниатюрней. Он в мою сторону поглядел – так и не знаю, заметил ли.

– Так, может, они и не дети? Уродцы, карлики, которых ночью вывели, чтобы днем не смущать прохожих?

– Нет, то-то и оно. Я по страху понял: у меня такой страх, только когда вижу действительно иноприродное. Нищих этих ваших я никогда не боялся, но тут... ночью... в пустом дворе – дети... зверство какое-то. Я уж бочком-бочком из подворотни, чтоб шагов не слышали, – юрк к себе! Утром дворника спрашиваю – скажи, Антон, никогда не видел ты тут ночью, чтобы дети играли под надзором бродяги? Что вы, говорит, какие дети, откуда... примстилось выпивши... Но я у Дворкиных не пью. Я вообще мало пью, вы знаете.

– Ну что ж, – Ять допил чай. – Молодцом, Коленька. Очень убедительно отдарились за мою идею.

– Да ведь я всерьез, – тихо и обиженно проговорил Стрелкин, и Ять устыдился сомнений.

– Сколько детей было?

– Человек семь, может, восемь.

– Не знаю, – сказал Ять после долгой паузы. – Может, и впрямь ночная школа нелюдей, а может, просто какой-нибудь сумасшедший решил, что ночью гулять благотворнее. Вот и собрал кружок последователей, гуляет по ночам с их детьми – нынче знаете сколько идиотов?

– Нет, нет, – убежденно ответил Коленька. – Все не то. Это школа, школа маленьких убийц. Ничего не бояться, никого не жалеть.

– Хотите, сегодня вместе сходим посмотреть? – предложил Ять.

– Ну уж нет, – твердо отказался Коленька. Это было на него не похоже – в иное время он зубами хватился бы за такую тему. – Я и днем туда больше не зайду.

Ять так и не узнал, был ли это талантливый розыгрыш, случилась ли у Стрелкина от холода и от любви галлюцинация, или и в самом деле темные начали воспитывать армию маленьких солдат. Но только весной семнадцатого шафранных нищих становилось все больше, и вели они себя все свободнее, – когда-то едва решались днем ходить по улицам, жались по углам, робели, втягивали голову в плечи, словно ожидая удара, а теперь внаглую расхаживали по Невскому. Подаяния почти не просили – только стояли у домов, подпирали стены и выжидательно приглядывались. Со Стрелкиным Ять о них больше не заговаривал.

## 2

О всяком человеке можно сказать мало определенного, о Яте – еще меньше. Лет ему от роду было тридцать пять, он был высок ростом, худ, женат, но с женой не жил десять лет. Ему нравились путешествия, таинственные истории, компании стариков и молодежи. Ровесники всегда казались ему взрослыми, а потому неинтересными людьми. Он часто смеялся во сне, смеялся бы и наяву, но был для этого слишком хорошо воспитан.

Подписываться Ятем он стал с двадцати лет – с тех пор, как начал публиковать в «Пути», «Глашатае» и «Веке» корреспонденции и мелкие рассказы. На досуге изучал труды нескольких полузабытых литераторов и потому состоял в Обществе любителей словесности, на заседания которого регулярно являлся. Ему, взрослому в среде разночинной, всегда на грани бедности, – мила была атмосфера академических собраний и профессорских семей, где утонченность, почти изнеженность так странно сочеталась с душевным здоровьем. Он играл немного в карты, симпатизировал кадетам, был одно время корреспондентом во второй Думе и на фронте, а потому давно понимал, что скоро все кончится. Однако понимал он и то, что хорошо кончиться не может: одна пошлость сменяет другую, зло побеждается только еще большим злом, и нет никаких оснований полагать, что когда-нибудь выйдет иначе.

У него имелись, как положено, имя, отчество, паспорт – причем квартира, снимаемая в шестизэтажном доме на Большой Зелениной, была записана по договору с домовладельцем на обыкновенную, хоть и не распространенную русскую фамилию. Фамилия эта, в свою

очередь, была псевдонимом его отца, рано умершего врача и притом еврея-выкреста. Однако сам Ять давно называл себя Ятем, и по этому псевдониму знала его небольшая, но преданная аудитория. Псевдоним он взял не из трусости, не потому, что не любил отцовскую фамилию: она была не хуже, чем у прочих. Ему нравилась буква. Ять и себя считал условностью, которая только по бесконечному терпению Божию не упраздняется. Но он знал, что без него нечто неуловимое сдвинется и перестанет существовать.

Врожденная грамотность давала ему единственное преимущество перед одноклассниками: он не был ни сильнее, ни красивее, ни богаче прочих – хотя тонкое его лицо и серьезные серые глаза нравились женщинам, – но то ли от детской привычки к непрерывному, даже за едой, чтению, то ли в силу особого таланта он всегда точно знал – когда в слове ять пишется, а когда нет. Он считался в классе экспертом по вопросам правописания. Со временем Ять все чаще задумывался о том, что правописание, в сущности, лишний ритуал, – но в мире только то и прекрасно, что не нужно. Насущных вещей Ять терпеть не мог.

Впрочем, нужно ему было немного. После горьких и благотворных событий, случившихся в его биографии за два года до осени семнадцатого, он в полной мере оценил прелесть добровольного, с опережением, отказа. Главное было – остаться в одиночестве, без надежд и с минимумом вещей. Но вот что было страшно: усыхая, отказываясь от излишеств, привыкая обходиться ничтожной малостью, он все отчетливее чувствовал, что не приближается к смерти, а только удаляется от нее. Мир вокруг него рушился, уже осыпались дома и срывали вывески – сам же он чувствовал себя все более крепким и живучим. Ничего не желая, никого не жалея, почти ни о чем не помня, он стал вдвойне стоек, как дерево без листьев, – и в этой-то неубиваемой жизни, лишенной всего, для чего жизнь дана, была особенная тоска.

Тело его иссохло, натянулось, как струна. И он порадовался, когда наступила зима, начисто лишенная надежд и красок. Словно падал, падал и достиг наконец дна бездны; знать бы тогда, как далеко было дно.

Как он прежде любил зиму! С давних, детских времен в ней было что-то волшебное. За месяц до Рождества начиналось преображение витрин, их ликующее изобилие, в котором и благодушный окорок, и тающий от счастья сыр обретали особую одухотворенность. И осетры с приколотыми к ним раками, и угри, и сиги сияли кроткой жертвенной любовью, готовясь украсить семейное пиршество. Это были уже не отрады, чревоугодника, но равноправные участники мистерии, в которой само сложное, продуманное устройство быта перестает служить комфорту и становится формой служения божеству. Ять не знал ничего трогательнее, чем приготовления к елке, и не подарки нравились ему, а то, что их заботливо заворачивали и изобретательно прятали. Все служили друг другу. Жалок и умилителен тот, кто с благодарной улыбкой принимает угощение, но умилительней тот, кто в предвкушении чужого счастья готовит тонкое блюдо, раскладывает сложные и прекрасные вещи в сияющей электричеством стеклянной витрине, заворачивает подарки и заботливо прячет сюрпризы. Если Ять ребенком и мог помыслить Бога, он мыслил его таким – приготовившим бесчисленные сюрпризы для вечного праздника.

Теперь витрины были мертвенно-пусты, кое-где заклеены газетами, где-то и вовсе разбиты. Смерть больше не превращалась в сказку, с нее навеки слетел романтический флер, кончились декадентские игры – и она стояла над городом, во всей своей чудовищной скуке. Праздник гибели кончился, начались ее будни. Но чем скучней и безвыходней были эти будни, тем большую силу жизни ощущал в себе Ять, – слепую силу растения, которому все равно, есть еще электричество или его не было никогда.

## 3

Последняя веселая ночь Ятя случилась с двадцать пятого на двадцать шестое октября, когда редактор его газеты «Наша речь» Мироходов откомандировал его в штаб обороны города. Слухи о выступлении носились по Питеру, кто выступает – никто не ведал. Штаб обороны города находился в левом крыле желтого здания Генерального штаба. Пропусков не спрашивали. В здании с клетчатými затоптанными полами, грязной лестницей и душным запахом сырого шинельного сукна сновали люди, которым решительно некуда было спешить: все чувствовали смутное возбуждение и не знали, что с ним делать. Так больной незадолго перед концом приходит в себя и начинает беспокойно шарить по одеялу, озираться, мычать – но обманываться этим возбуждением не станет и самый жизнерадостный лекарь.

Ять попросил дежурного провести его к кому-нибудь из руководителей штаба, ему указали дальнюю дверь, и он вошел в прокуренную комнату, где над картой склонялось несколько белозубых, смеющихся офицеров. Ять не понимал, над чем смеялись, но отчего-то легко разделил общее лихорадочное веселье. Он представился и поинтересовался, кто возглавляет штаб обороны. Ему назвали фамилию, которую он записал и тут же забыл.

– Можно ли его видеть?

– Естественно, можно. Но он теперь занят.

– Я понимаю. Правда ли, что ночью город будет взят?

– Неправда, конечно. Кому он нужен?

Все снова расхохотались. Входили и выходили замерзшие, возбужденные люди, задавали бессмысленные вопросы, и сам Ять чувствовал себя на нервном подъеме, какой всегда переживаешь в эпицентре больших событий. Долгое ожидание наконец разрешалось не пойми чем. История взяла дело в свои руки, можно не суетиться – отсюда происходило и странное облегчение, которое чувствовали все. Никаких больше обязанностей, только смотри.

Он еще дважды спрашивал сновавших мимо людей, иногда даже кивавших ему, как знакомому, – кто руководит обороной. Называли все время разные фамилии; в память ему врезался отчего-то генерал Каковский, ужасно смешная фамилия. В третьем часу вдруг грянул взрыв – стекла задребезжали, кто-то ясно сказал: «Это с Невы», на площади внизу протрещали и затихли выстрелы. Люди в коридорах задвигались быстрее. Ять бродил из комнаты в комнату, как пьяный. Никто ничего не понимал.

– Скажите, но город обороняется? – спросил он усатого краснолицего полковника, все время сморкавшегося в огромный пестрый платок.

– А как же, – серьезно ответил полковник. – Обязательно обороняется, все в наших руках.

– А где генерал Каковский? – тоном знатока поинтересовался Ять.

– Каковский? – переспросил полковник. – Вероятно, на укреплениях.

– Каких?

– Каковских, – еще серьезнее ответил полковник. – На каких же еще.

– А, – кивнул Ять. – А кто руководит обороной?

– Генерал Чхеидзе, – с ласковой улыбкой ответил полковник. – Усач, красавец. Гроза женского полу. Не пропускал ни одной юбки, страстно любил кахетинское.

– Но главное, что все в наших руках, – уточнил Ять.

– Разумеется, – пожал плечами полковник. – В чьих же еще. Красавец, усы – вот! (Он руками показал усы.) Тифлис от него стонал.

Все было похоже на опасную, щекочущую игру. Игра называлась «Оборона города». Правила заключались в том, чтобы ничего не оборонять, но старательно делать вид – ходить,

нервничать. Когда забелел рассвет и клочья ночи, живописно располагаясь по окоему, принялись выцветать, Ять снова увидел давешнего полковника.

– А все-таки кто руководит обороной, mon colonel? – спросил он, почему-то переходя на французский.

– Генерал Огурчиков, – серьезно отвечал полковник.

– Не слыхал о таком, – столь же серьезно произнес Ять. – Любят ли его в войсках?

– Видите ли, – приблизив к нему лицо, выпучив глаза и переходя на ужасный шепот, сказал полковник. – Я никому об этом не говорю, вам первому. Разумеется, это не для печати. Запишите и немедленно опубликуйте. Дело в том, что огурчики, находящиеся под его командой, – страшные фанатики, не останавливающиеся ни перед чем. Генерал и сам не всегда способен остановить их. Поэтому город вне опасности, совершенно вне опасности...

– А как же поручики? – спросил почему-то Ять.

– Ни поручики, ни голубчики не остановят огурчиков! – воскликнул полковник, и на этих словах Ять проснулся. Разумеется, никто не послал бы его в штаб обороны города, он сроду не писал ни о чем подобном. Но трудно было сомневаться, что в штабе царило именно такое бессмысленное возбуждение, а о непрерывной смене начальников штаба он прочел два дня спустя в корреспонденции Арбузьева, нового автора «Пути». Этот веселый сон Ять вспоминал потом часто.

#### 4

Тридцатипятилетие Ять решил праздновать в одиночку – кому было до праздников пятнадцатого декабря семнадцатого года? Он уже за месяц знал, чем побалуует себя. В десять утра он встал, побрился, подстриг усы, надел все лучшее и пешком отправился к Клингенмайеру. Надо было зайти еще в Лазаревскую больницу – его кое-кто ждал, хотя праздник его там ровно ничего не значил. Но это можно и позже – сначала в гости. Ять никогда не мог понять, на что живет Клингенмайер. Продавал он мало, прикладного значения его товар не имел, а историческими разысканиями и в более благополучные времена нельзя было зарабатывать. Деньги его были такого же таинственного происхождения, что и вещи в лавке, – и, право, оказался Ять перед выбором: узнать о Клингенмайере что-нибудь определенное или остаться в неведении, – он замкнул бы слух.

Таинственный собиратель владел лавкой на углу Большого проспекта и Лахтинской, в крошечном полуподвале. «Д-р Фридрих Клингенмайер. Раритеты и древности» – гласила желтая вывеска. Завсегдатаи полуподвала были немногочисленны, но даже и среди этой избранной публики немногим удавалось запомнить, по каким дням и в какие часы открывает свою сокровищницу прихотливый доктор. Только единицы, избранные среди избранных, знали, что лавка открывается, когда ему заблагорассудится. Ятю повезло – замка на двери не было; он вошел, и зеленый от старости колокольчик известил о посетителе копавшегося в запасниках хозяина. Клингенмайер в линялом рабочем халате (который выглядел на нем словно расшитый звездами) появился из глубины своей лавки, соткавшись из полумрака и пыли. У этого немца (а впрочем, кто знал наверное, что он немец?) была внешность не то персидского звездочета, не то иудейского мудреца: темно-смуглое пергаментное лицо, тонкий, с горбинкой нос, мягкие морщины.

Не все догадывались о принципе, по которому Клингенмайер отбирал свои вещицы, и уж вовсе никто не делился догадками; в «клубе Клингенмайера» публика была немногословная. Иногда хозяин, подразумевая в посетителе знатока (хотя заглянуть к нему мог и случайный прохожий, привлеченный вывеской), любовно показывал вполне заурядный предмет: «Поглядите, что я раздобыл. Удивительная вещица, не правда ли?» – и гость послушно изоб-

ражал восхищенное внимание, пристально разглядывая крышечку от чернильницы, кукольный ботинок или лорнет на черепаховой ручке, какой можно было увидеть у любого инспектора провинциальной гимназии: «Да, редкая вещь». «Не то слово, милостивый государь, не то слово», – кивал Клингенмайер и возвращался к своим запасникам.

Ять тоже не был уверен, что разгадал тайну этого хаотического отбора, но – и это лишнее доказательство того, что чужие тайны мы склонны подменять собственными, – в душе полагал, что Клингенмайер ценит лишь причудливые ухищрения без особого практического смысла. Положим, лорнет зачем-нибудь еще нужен, хотя большинству такие штуки служат только для украшения; но вон та чашечка слишком хороша, да и маловата, чтобы из нее пить, а эта пуговица ничего не стоит без сюртука, а музыкальная шкатулка давно не играет, а толстенная свеча прямоугольного сечения попросту не будет гореть, ибо некуда стечь воску и пламя захлебнется через три минуты; но именно триумф красивой бессмыслицы, избыточных, отягощающих условностей был Ятью мил в подвальной лавке. Словно все вещи мира, изгнанные из него за бесполезность, сошлись тут, чтобы послужить оправданием пренебрегшему ими человеческому роду.

Впервые Ятя привел сюда Грэм, сам неутомимый собиратель чудачков и чудачеств. Мальчик, выросший на фантазиях Верна и Купера (но на чем же и было расти ребенку конца столетия, если русская словесность, как истеричная барыня, предоставила детей западным гувернерам), Ять обожал вещи, приплывшие издалека. Тут были корабельные компасы, словно спасенные с роскошных затонувших кораблей начала века – самонадеянных трансатлантических великанов; и талисманы, не иначе как найденные в карманах полярных исследователей, замерзших в трех милях от спасительного лагеря, на возвратном пути от полюса, пятью месяцами ранее открытого удачливым, скучным норвежцем; и дедушкины табакерки, и бабушкины веера, сами собой ложившиеся в четырехстопные ямбы. Тут был бледно светящийся фосфорный цветок со старого бального платья, коробка французской пудры тридцатых годов безвозвратного века, серебряная с чернью стопочка, отбившаяся от пяти сестер, желтый мужской перстень слоновой кости с кружевным, ажурной сложности узором и почти в цвет ему женская перчатка с неизвестного, скорей всего несчастного венчанья. Но больше всего Ять любил американские сигарные коробки – иные с кубинскими сигарами, иные уже без всяких сигар; он любил их густой, кирпичный, темно-красный цвет фабричной стены в час заката. Его плотная, винная, насыщенная густота была для него цветом скитаний, великих пространств и кровавых стычек. Впрочем, любил он и тусклые золотые цепочки, соседствовавшие с безвкусной, грошовой бижутерией, которая среди запасов Клингенмайера отнюдь не казалась бедной родственницей, а чувствовала себя на месте и гордо поглядывала на посетителя: здесь оценивают не так, как у вас, словно говорили все эти стеклянные бусы и перламутровые крымские брошки.

Был тут и разряд вещей, особенно любимых Ятем и не продававшихся: Клингенмайер держал их, как говорил, для обзора. Это были талисманы, доставшиеся ему от прежних владельцев в подарок, в оплату таинственных услуг или попросту на хранение, когда они уже потеряли силу, а то и начали источать зло, как бывает с перебродившими эликсирами. Талисманы были прекрасны неприметностью, бедностью – огарок, муаровый бант, кукольный глаз, башмак, монета, бусина, четвертка бумаги с обрывком счета, записанного порыжевшими чернилами, одинокий валет из старой колоды (все еще франт – подкрученные усики, выцветший румянец на девически-чистых щеках), витой шелковый шнурок, плоский и ломкий засушенный цветок из гимназического гербария, задачник Магницкого с вписанными карандашными ответами, игральная кость, коготь неизвестного дракона (а при ближайшем рассмотрении, скорей всего, куриный), бархатная подушечка с запахом пряной, сухой, мелко

крошенной травы, – все это было разложено на шести полках высокого, загнанного в темный угол шкафа красного дерева с резьбой.

Собираясь в лавке небольшой кружок чудаков, сходящихся нечасто, в последнюю пятницу четного месяца; бывал чай с неведомыми травами в крошечной круглой комнате, где священнодействовал сам Клингенмайер без прислуги и родни; бывали экзотические гости, большей частью путешественники, рассказывавшие о бурях и островах; спириты, эзотерики, теософы и знатоки масонской символики; был даже один кельтолог, после доклада о Бэде-проповеднике спокойно сообщивший, что Дума наводнена масонами и многие из них имеют доступ к государю. Клингенмайер редко участвовал в беседах, иногда только сыпал ароматическую соль на тонкое медное блюдце, поддерживаемое бронзовым негретенком. На коленях у негретенка стояла свеча, блюдце нагревалось, и кристаллы распространяли сладкий, тягучий запах. От него хотелось и спать, и бодрствовать – слушать и слушать, плыть по ленивым, знойным волнам; Ять мечтал выпросить себе щепоть этой соли. После собрания Клингенмайер обыкновенно вручал докладчику, а то и гостям (некоторым, всегда избирательно) прелестные мелочи, бесценные и не стоящие ни гроша. Так Ять получил от него фарфоровых котят в корзинке, гимназическую чернильницу-непроливайку и с особенным значением врученную соломенную шляпу («Вещь непростая, и вы еще не знаете, как она вам пригодится»; пока не пригодилась никак, ждала своего часа). Клингенмайер явно заранее отбирал подарки, заботливо упаковывал их – разворачивать разрешал только дома, по возвращении с пятничного сборища – и порой сопровождал странными стишками, вроде: «Вот ключ от истины. Внимательно смотри: четвертый нужен там, где соберутся три». Этой запиской он напутствовал Грэма, вручив ему старинный ключ неизвестно от чего. Разумеется, антиквар дурачил гостей, но они относились к его запискам с исключительной серьезностью – возможно, впрочем, наигранной, в духе всего этого клуба чудаков.

Удивительно было, как уцелел и полуподвал, и вывеска с немецкой фамилией во дни, когда – сперва с благословения жандармерии, а затем и в июле, уже при Керенском, – в Питере громили немецкие магазины, пекарни и кофейни. Как только начали бить стекла, Ять кинулся в лавку Клингенмайера, но там на дверях висел замок, тоже не нашенский, древний, пудовый, – на такие запирались немецкие амбары времен Реформации. Никто не тронул Клингенмайерова жилища – то ли народ на Петербургской стороне был тише, чем на других окраинах, то ли вывеска была больно убога, то ли наличествовало высокое покровительство, незримая опека законспирированных правителей России, бывавших на таинственных пятницах с историческими и географическими докладами. Впрочем, никакая охранная грамота не остановила бы толпу; Грэм в своей манере замечал, что вывеска Клингенмайера не всякому видима.

Итак, Ять вошел, колокольчик приветствовал его, и Клингенмайер из глубины лавки выплыл, словно по воздуху, навстречу посетителю.

– Ждал вас, – обратился он к Ятю по имени-отчеству, – ждал и знал. Из господ завсегдатаев самый стали неаккуратный. Могли бы почаще наведываться. Голос у него тоже был сухой, шелестящий, по-немецки приглушающий звонкие согласные.

– Докучать боюсь, – признался Ять.

Клингенмайер ничего не ответил, только улыбнулся тонкими губами, словно желая показать, что оценил учтивость, излишнюю между своими.

– Что скажете? – спросил он, пожимая Ятю руку и подводя его к старинному книжному шкафу, на полках которого так естественно выглядели бы колдовские фолианты с рецептами любовных зелий, но на самом деле теснились на равных правах подшивки «Нивы», разрозненные тома из немецких и французских «Сочинений» забытых авторов, брошюры

о русском сыщике Кобылкине, пособия по кораблестроению, морские уставы и лубочные книжки. – Посмотрите приобретения, есть и для вас кое-что, но это после.

Никогда не было понятно, что следует отвечать на приглашающее «Что скажете?» – спрашивал ли Клиngenмайер о своих последних приобретениях или о последних новостях гостя. Ятю, однако, хотелось поговорить о творящемся вокруг, ибо собственные догадки были слишком страшны, но он не знал хорошенько, с чего начать.

– А у вас все по-старому, – сказал он, осматриваясь.

– Что ж в последний раз не были?

– А кто приходил?

– Все свои, я гостей не звал, – отвечал Клиngenмайер, протирая бархоткой старинный деревянный глобус с приблизительными, давно уточненными очертаниями континентов и без Антарктиды. – Говорили об алеутских способах обогрева жилищ.

– Вовремя, – заметил Ять, подивившись, однако, постоянству хозяина и завсегдаев: последняя пятница четного месяца случилась двадцать седьмого октября. – И как вам все это? Клиngenмайер пожал плечами.

– Историка чем же удивишь, – произнес он так, словно тысячу раз уже переживал подобные перевороты, и не во сне, а наяву, в своих агасферских странствиях. – Ждите реставрации.

– Что ж, и Романовы? – не поверил Ять.

– Какая разница, Романовы, Обмановы. Если Романовы, это еще не худший случай. У них на настоящую месть уже сил нет. Хуже, если свои вырастут, эти такого натворят, что девяносто третий год пикником покажется. Никогда нельзя казнить царя: если бы вернули Луи Капета, он бы столько не выморил. Простил бы на радостях.

– А Керенского никак уже не вернешь? Клиngenмайер покачал головой.

– Вы что же, хотите Керенского?

– Не его, а...

– А его и не было, – твердо сказал Клиngenмайер. – Все идет своим ходом, и чтобы построить новую империю, надо до конца развалить эту. Тогда все с восторгом встретят царя: батюшка, как хочешь лютуй, лишь бы ты! Собственно, еще Луазон... Ну да Бог с ним. Что у вас-то?

– Да пишу, куда есть газета. Ну и для себя по мелочи. Я начал тут одну вещь, но не думаю, что доведу до ума. Либо растеряю интерес, либо станет не до писаний.

– Никогда так не станет, – значительно произнес Клиngenмайер.

– Да какой же смысл?

– За слово «смысл» я скоро буду брать штраф, как в оны времена, при наполеоновском нашествии, брали за французский язык. Вы говорите, смысл, – он безошибочно вытащил из шкафа небольшую книгу в желтом кожаном переплете. – Полистайте-ка, а потом говорите о смысле. Ять внимательно просмотрел книгу, но не понял хода клиngenмайеровской мысли и честно признался в этом.

– Вот и весь смысл, – улыбнулся Клиngenмайер. – Он заключен в ней, и вы же не скажете, что его нет?

– Вероятно, есть.

– Уверю, настанет день, когда он станет для вас яснее ясного. А пока и не спрашивайте никого. Лучше вообще не показывайте кому попало.

В этот миг снова зазвонил дверной колокольчик, и в дверях возникла тощая долговязая фигура в башлыке. Этого посетителя Ять, сколько можно было разобрать в полумраке, не знал.

– Фридрих Иванович, – негромко позвал вошедший.

– А, здравствуйте, здравствуйте, – Клиngenмайер пошел навстречу новому гостю.

– Я решился, Фридрих Иванович, – твердо сказал вошедший. Клингенмайер помолчал.  
– Что ж, – сказал он после паузы. – Решившихся не отговаривают, это было бы неуважением к их решимости. Не стану приводить вам аргументов, прошу только еще раз взвесить... Вы всегда можете забрать, если передумаете.

– Вряд ли, – длинный криво усмехнулся. – Я знаю, что делаю.

– Да пройдите же сюда, что в дверях стоять...

– Нет, нет, я на секунду... Вот, – гость порылся в карманах и извлек небольшой круглый предмет, завернутый в газету; Ять пригляделся – это был эсеровский листок «Знамя труда», газетенка гнусней некуда. Клингенмайер бережно, как драгоценность, принял сверток и, не поблагодарив, не заплатив, направился обратно к Ятю.

– Я могу надеяться? – спросил долговязый.

– Можете быть совершенно уверены.

– Ну, прощайте.

– В любом случае до свидания, – строго сказал Клингенмайер. – Помните, этот дом теперь ваш дом.

– Хорошо, кабы так, – долговязый еще раз усмехнулся, постоял в дверях и торопливо вышел. Колокольчик жалобно тенькнул ему вслед.

– Кто это? – спросил Ять.

– Покупатель, из постоянных, – уклончиво и, как показалось Ятю, с неохотой отвечал антиквар. Он осторожно развернул круглый предмет, и в руках его оказался стеклянный шар с домиком и снежным бураном внутри. Клингенмайер несколько раз встряхнул игрушку, и бумажный снег взвился над крышей домика, а потом снова устлал ее и бархатную зеленую лужайку вокруг. Славная вещица, но ничего особенного – такие продавались накануне Нового года в каждом игрушечном магазине. Клингенмайер рассматривал шар задумчиво, с видом истинного знатока.

– Жаль, – произнес он наконец. – Очень жаль. Да что ж поделаешь, вольному воля.

Он поместил шар на верхнюю полку шкафа с талисманами, из кармана халата извлек карандаш и сделал запись в старой конторской книге, лежавшей на той же верхней полке. Ять видел эту книгу впервые.

– Реестр? – спросил он.

– Кто бы знал, какой это реестр, – вздохнул Клингенмайер. – Ну, как вам книжка?

– Занятно, – улыбнулся Ять.

– Она ваша. Да, да, это я вам дарю. Возьмите, и никаких денег, все равно она стоит больше, чем у вас есть.

– Спасибо, – сказал Ять. – И откуда вы все знаете?

– Что знаю?

– День рождения у меня нынче, – сказал Ять. – Тридцать пять лет как одна копеечка.

– Поздравляю, – кивнул Клингенмайер. – Не знал, ей-Богу. Выбирайте подарок.

– Так ведь уже...

– Нет, это я приготовил заранее, не догадываясь, что у вас праздник.

– Я бы попросил у вас ароматической соли, той, что вы поджигали на собраниях. Если, конечно, это не тайна, не раритет...

– Раритет, – кивнул Клингенмайер, – но для вас найдется. Пойдемте, попьем чаю, там и отсыплю.

Они прошли в заднюю комнатку, где проходили собрания. Клингенмайер поставил на спиртовку небольшой медный чайник, в котором заваривал свои травы, отравы, отвары, – отпер шкатулку и вынул из нее бумажный пакетик.

– Но учтите, на обычных свечах порошок не действует, так что придется дать и свечу. Впрочем, праздник есть праздник. Я вам все это вручу с открыткой.

Ять впервые достаивался послания от Клингенмайера. Антиквар присел к столу, обмакнул вставочку и задумался. Лицо его было меланхолично и мечтательно. Наконец он решительно начертал несколько слов, подул и протянул Ятю открытку – немецкую, рождественскую, с маленькими пятнистыми оленятами, умильно заглядывавшими в окно идиллического домика.

Ять прочел:

«Вот напоследок для тебя подарок – свечи огарок. Храни его и не давай в обиду другому виду».

Подпись была витиевата и размашиста, почерк округл, но изящен. Ниже с немецким педантизмом проставлена была дата.

С этой даты и начался для Ятя отсчет главных пяти месяцев в его жизни.

## 5

День своего упразднения, 23 декабря, Ять помнил в подробностях. Вероятно, и впрямь существует всечеловеческий беспроводный телеграф, потому что с утра в его квартиру на Зелениной потянулись посетители – люди по большей части совершенно ненужные. Больше всего это было похоже на отдавание последнего долга. Разумеется, с утра Ять, как и бессознательно валившие к нему гости, ни о чем таком не подозревал. Первым принесло Трифонова. Кого не хотелось видеть, так это Трифонова. Вообще хотелось сочинять, впервые за несколько недель пришел настрой, – вдобавок накануне Ять вымылся, что в последний месяц никак не удавалось. Ритуал мытья был теперь тяжел, сложен, заниматься им надлежало с раннего утра, на свежую голову. Чистый, довольный, с непросохшими еще волосами, закутавшись в оба халата, сел он к столу – и тут скрежетнул звонок; чертыхаясь, Ять пошел к двери.

– Здравствуйте, здравствуйте, – сопя, отдуваясь, повторяясь, не давая вставить слова, в нос говорил Трифонов. – Простуда, простуда, никак не пройдет, нет, не пройдет. Теперь ничего не проходит. Недостаток жиров, недостаток жиров. А я к вам, к вам. Сколько можно, сижу один, как сын, вот-вот с ума сойду. А у вас потеплее, потеплее.

Ну, подумал Ять, ежели у меня потеплее, то у него и впрямь хуже некуда. Вытерпим Трифонова. Тем более что его непрестанная, забалтывающаяся скороговорка выдавала привычку к долговому одиночеству, к разговорам с самим собой – бессмысленным, только бы нарушить давящее молчание пустой квартиры и не забыть людскую речь. Жена ушла от Трифонова три года назад, брак был недолог – и двух лет не прожила хохлацкая красавица с угрюмым, сосредоточенным на себе профессором, которого вечно мучили навязчивые страхи и апокалипсические предчувствия. Ять ее не осуждал – у нее были огромные, прелестные карие глаза, грудной голос, и никто больше нее не жалел покидаемого мужа; Трифонов, кстати, и не удерживал. Уехала она к давнему поклоннику в Киев, Трифонов умолил Ятя пойти на вокзал вместе с ним, проводить (Ять долго отнекивался, не желая участвовать в чужой драме, да и к чему в таких делах свидетели?). Наталья Александровна уезжала почти без вещей, долго прижимала голову Трифонова к груди, называла его «доню» и улыбалась сквозь слезы. Он держался молодцом, только все взглядывал на часы; когда осталось пять минут, вдруг засопел, беспокойно задвигался и тоже расплакался.

– Ну, верно, так надо, – сказал он. – Прощай, прощай. И, не дожидаясь, пока поезд тронется, потянул Ятя за рукав и пошел вдоль поезда назад, в здание вокзала.

– Нельзя, нельзя, – повторял он. – Самой минуты видеть нельзя. Как тронется – не выдержу, пусть уж без меня. Идемте, голубчик, водочки выпьем...

В вокзальном буфете Трифонов приободрился, лихо пил водку, говорил даже о каком-то новом браке, который возможен, вполне возможен, – но отъезд жены запустил в нем механизм саморазрушения: он все меньше следил за собой, писал темно, на лекциях забалтывался. В последнее время он был одержим страхом, что его профессия лингвиста никому больше не нужна, что за ним скоро придут и поволокут на общественные работы. Такое уже бывало в истории – приходили варвары и упраздняли весь уклад сложной, разветвленной жизни, которую веками строили до них.

– Вот вообразите, – говорил он, все еще как будто шутя, но за шуткой Ять чувствовал неподдельный страх. – Вообразите, придут, и что ж я буду?

– Ничего не будете, – машинально отвечал Ять, погруженный в собственные труды. Он давно привык не особенно церемониться с Трифоновым (тот пугался, если к нему были внимательны: значит, все действительно совсем страшно и он обречен. Равнодушие Ятя его успокаивало: прийти-то придут, но, значит, еще не завтра).

– Именно, именно что ничего! Что я умею, кроме этого никому не нужного дела?! – Трифонов с ненавистью пнул стопку словарей на полу. – Придут и заставят тяжести таскать. А как я могу? Я, тысяча извинений, газы пускаю.

Ять хотел было ответить, что в таком случае он незаменим был бы на фронте, но убоился ранить трифоновскую пухлую душу.

– Да-с, от малейшего напряжения, – продолжал Трифонов совсем уже невесело. – И знаете, что самое отвратительное? Что у меня не хватит духу плюнуть в рожу этим гуннам. Так и буду таскать, повизгивая под ударами... отвратительно!

– Так и прекрасно. Вы столько раз хотели похудеть, сразу и похудеете.

– Да, тоже верно, – вдруг успокаивался Трифонов. – Ну, промучусь год, два, а потом, верно, стану как они... Но каковы мне будут эти два года?

– Вы бы готовились, гимнастикой занялись. Гири, душ ледяной... Утром вставать пораньше – и снежком, снежком...

– Нет, сам я себя не заставляю, – решительно покачал головою Трифонов. – Должен кто-то сторонний.

Ятю душно стало с этим человеком. Дело было не только в тошноватом запашке Трифонова, заглушавшемся отчасти одеколоном, не только в его полноте, вытеснявшей из комнаты воздух, – но и в неуклонной сосредоточенности на одном. Ять сам знал, что когда-нибудь придут и всё возьмут; потом придут к тем, кто придет. Всегда кто-нибудь приходит. Но на этот случай было два выхода, давно придуманных в предчувствии неизбежного краха: во-первых, можно подламываться понемногу, по чуть-чуть. Он знал людей, крепких, как старые дубы, и рушившихся в одночасье. Чтобы не лишиться сразу всего, надо было что-то отдавать ежедневно и к неизбежной развязке подойти возможно более легким. Был и второй выход, пугавший все меньше: он знал, что скорее не будет жить, нежели согласится выживать. Отказ – вот правда, другой не придумано. Трифонову трудно было понять это.

– Ладно, пойду, пойду, – начал приговаривать он, повертываясь на диване всем толстым телом, но все еще никуда не уходя. – Ну а все-таки, голубчик, как же вы думаете: скоро ли конец?

«Да какая разница?» – хотел ответить Ять, но придумал вдруг универсальное утешение:

– Как будем готовы, так и конец.

– А как мы узнаем, что готовы?

– Уж будьте покойны. Знаете же вы откуда-то, что сроки близко. Вот купите гирию, похудеете, выучитесь тасканию тяжестей – тут-то и конец. С человеком делается только то, к чему он бессознательно стремится.

Не успел он запереть за Трифоновым и вернуться к столу, как снова тренькнул звонок и за дверью раздался нетерпеливый голос Стрелкина:

– Сидите тут, ничего не знаете! Да впустите же скорей, холод адский!

Стрелкин, румяный и возбужденный, принес Ятю весть о декрете, об отмене ятей и еров, а стало быть, и об его упразднении, – и побежал дальше: опрашивать питерских литераторов, что они думают по этому поводу. Он искренне полагал, что читателей «Речи» этот вопрос живо интересует. Следом пришли еще человек пять, и со всеми надо было говорить о карточках, дровах и новой грамоте, так что в одиночестве Ять смог остаться только к семи вечера. Стемнело, жечь керосин не хотелось. Он лежал на кровати, курил и думал. Одинокое окно горело напротив: кто там живет? Верно, кто-нибудь неупраздненный... Странно: он не чувствовал зависти. Прежде совсем не переносил одиночества, а теперь притерпелся. Видимо, это и означало очередную реинкарнацию: тот Ять, который боялся одиночества, умер, а новый ничего не боялся.

Ощущать себя несуществующим было ему не внове. Ишь удивили! Все последнее время, когда знакомые суетливо выспрашивали у него, что лучше делать со сбережениями, он с радостью понимал, что и сбережений-то у него почти нет и неоткуда было взять. Исчезни он и в самом деле вслед за своей литерой, материальных следов его существования осталось бы до смешного немного. Были три книжки мелких рассказов, пять сотен газетных да две сотни журнальных статей, брошюра об охране, пять-шесть дипломов после побед на конкурсах «Нивы» и «Нови»; несколько фотографий, на которых он всегда выходил затененным или стоял сбоку, – единственный крупный портрет, заказанный для третьей книжки, оказался до того неудачен, что он отказался от него вовсе. Если и удавалось проследить в его судьбе отчетливо звучащий мотив, это с самого начала была тема отсутствия или бегства, словно Бог специально устроил дырку в людском монолите, чтобы подглядывать сквозь нее. И только этот взгляд, который Ять чувствовал иногда на себе – сквозь себя, – давал ему ощущение смысла.

Ведь нельзя же было считать смыслом то занятие, с помощью которого он и сам не думал спасти душу, – сочинительство, памфлеты о думских глупостях, критику... Единственной определенной чертой, которую Ять за собой знал с гимназических лет, была ненависть к сознающей себя правоте, умение распознать ложь за добротной банальностью, самомнение – за самопожертвованием. Но ведь и эта способность, которую он одно время искренне в себе ненавидел, обозначалась только в чужом присутствии. Втайне он завидовал великим и безвкусным созидателям миров. Если бы Господь, творя мир, заботился о достоверности, вкусе и соразмерности, он едва ли пошел бы дальше прилизанного пустого пейзажа с парой облетевших кустов: чрезмерно все – море, горы, степь, из каждого живого лица торчали ошибки вкуса, как из страницы Леонида Андреева, – и это был мир, который Ять вчуже любил до страсти. Может быть, страсть к избыткам и проистекала от вечного сознания своей недостаточности – а потому он всегда любовался стихиями, бурями и неуправляемыми особями вроде Буркина.

Но что Буркин? Разве не от сосущей внутренней пустоты были все его загулы, хождения на медведя, странствия по югу России с цыганами? Никаким любопытством нельзя было объяснить его игру в харьковском театре, полет на аэроплане, службу подручным в одесской фотографии (вернувшись, показывал у себя целую выставку – обыватели со страшными застывшими рожками, еврейские семилетние вундеркинды, с необъяснимой, еще до всякой судьбы, тоской в глазах, – ни одного человеческого лица, и Буркин словно радовался, демонстрируя все это: Ять впервые тогда усомнился в его доброте). Пустота сосала всех, без нее и писать не стоило. Люди с внутренним содержанием шли в бомбисты. Изначальный порок был и в его развитии – очень рано он пришел к тому, к чему другие продираются

годами. Мореплаватель отправляется в долгое странствие, попадает в бури, увязает в живых хищных водорослях, чудом спасает судно из льдов, сходится с кровожадными дикарями, до поры не замечая их людоедства, – и, проплыв вокруг света, возвращается в исходную точку, в порт, в дом, где за три года его отсутствия все осталось оскорбительно неизменным; и там, в этой точке, стоит печальный всезнайка, которому с самого начала известно, что всякий, начавший путь отсюда, вернется сюда. Так сам он мыслил свою неспособность к оболщениям и об этом написал рассказ, удостоившийся одобрения Грэма (с неизменным постскриптумом: «Я развернул бы иначе, чтобы и в доме, где его ждут, были свои дикари, льды и тигры, – вы понимаете?!»). Но свои льды и тигры Ятя не утешали – он привык считать себя и свою участь тайно ущербными. Пусть он с рождения знал, что дружелюбные дикари на самом деле людоеды, а изумрудная и синяя глубь таит в себе тысячи жадных щупалец, хищных ртов и глаз, иерархию всеобщего поедания, – но мореплаватель знал оболщения и потому был богаче; пусть он пришел в исходную точку – но ведь смысл путешествия никак не в его цели. Всякий круг замыкается, но тот, кто описал круг, – видел больше, чем тот, кто стоял на месте. Был бы он приличный человек, подписывался бы Добро или Веди.

Испугался он – и то ненадолго – только пятого января, когда все тот же Стрелкин ворвался к нему с новостью об упразднении всей старой орфографии. День был для Ятя неприсутственный (он относил колонку по вторникам, обзоры сдавал по четвергам), и можно было до вечера писать, а часам к восьми отправиться в карточный клуб на Английской набережной; закрыть его грозились давно, но руки не доходили. Стрелкин в доказательство (без которого поверить ему было решительно невозможно) прихватил первый в новом году номер «Правды». Публикация декрета сопровождалась небольшой статьей Чарнолуцкого, разъяснявшего, что отмена орфографии есть мера сугубо временная, служащая для преодоления барьера между грамотными и неграмотными жителями России. После того, как ученые-марксисты разработают новые, подлинно демократические орфографические правила, правописательная норма будет восстановлена. Чарнолуцкий писал также, что употребление старых орфографических правил, не говоря уж о ятях и ерах, будет трактоваться как монархическая пропаганда. Юмор положения заключался в том, что статью народного комиссара тиснули без единой правки: в двух местах Чарнолуцкий машинально употребил ер, в одном – ять, и почти все запятые перед «что» были у него пропущены, а кое-где, напротив, торчали лишние.

– Ну? Как вам это? – От холода и возбуждения Стрелкин так и цвел румянцем.

– Круто взялись, – покачал головой Ять. – Сначала, стало быть, отменили судебные законы, а теперь – законы природы. Начинать – так с нуля. Одобряю. По крайней мере, незря называются радикалами.

– Вы это серьезно?

– Где уж серьезней, Коленька. По совести вам скажу: тридцать пять лет живу на свете, а зачем орфография – не знаю.

– Вы же издевались над всеми, кто писал полуграмотно! – уколол Коленька.

– Да мало ли над кем я издевался. Почему «не убий» – могу понять, «не укради» – тоже, а вот почему бледный бес через ять пишется – никак в толк не возьму. Витте сажал по три ошибки в строке, а ничего, справлялся. У меня было тайное соображение, что соблюдение орфографических законов как-то связано с уважением нравственных, – но это так же наивно, как полагать, будто человек законопослушный всегда становится образцом морали. Я столько знал отъявленных мерзавцев, никогда и ни в чем не преступивших закон... В общем, думал я, думал – и пришел только к одному: грамотность – это свидетельство покорности. Что вот, мол, готов человек к послушанию: знаете эту историю, как в каком-то зна-

менитом русском монастыре – чуть ли не в Оптиной – молодому монаху назначили в послушание выдергивать на огороде неспелую морковь и сажать обратно ботвой вниз?

– Чушь какая.

– То-то и оно, что чушь. Он сажает, сажает, а потом и не выдержал: святой отец, говорит настоятелю, да неужели она от этого лучше будет расти? А святой отец ему: да нет, миленький, она-то не будет, а вот ты – да. Делаю, ибо абсурдно. То есть... как бы вам сказать, Коленька. Орфография – явление религиозное, вроде соблюдения поста, но в нашей с вами штатской жизни. Бессмысленное послушание, которое я сам на себя наложил. Так что люди, пишущие грамотно, это в некотором смысле кроткие люди... даже когда держиморды. Знаете, почему я в конце концов не против этой отмены орфографий в государственном плане? Пусть это станет совсем уж добровольным делом. Хорошо только тот гнет, который я сам на себя взвалил. Ведь они и религию упразднили, и этим сделали ей большое одолжение. Во всей Европе вера в упадке, а у нас она станет пламенной, пойдет в катакомбы...

– Да разве это хорошо?

– Почему нет? Все лучше, чем гимназические молебны. Хорошо бы эти марксисты подольше не разрабатывали свои новые правила, потому что я ведь знаю, чего они нарабатывают.

– По «Правде» судя, половину существительных исключат, а остальные заставят писать с большой буквы, – хохотнул Коленька – На немецкий манер. Но я-то про другое. Это сколько же учителей останется без работы? Вам, Ять, хорошо рассуждать, а я учительский сын... И ваше Общество словесников, как я понимаю, тоже теперь должно распуститься – профессуру пошлют лед колоть, не иначе.

Ять нахмурился.

– Вот черт... Об этом я и не подумал, садовая голова...

Слова Стрелкина подтверждали его худшие опасения насчет себя: он никак не мог привыкнуть думать о других людях, тем более об их пропитании.

– Вообще, знаете, – сказал он после некоторого раздумья, – Чарнолуский действительно мог не сообразить. Он человек настолько пустой, что сроду не учитывает последствий. Я ведь знаю его немного.

– Вы – его? Откуда? Ять подошел к книжной полке.

– Вот, у меня даже экземпляр сохранился. Он издал в девятом году пьеску, что-то из французской королевской жизни. Прислал мне. Я вел тогда книжный отдел у Григорьева. Ну, и написал – подает, мол, надежды, все-таки лучше пьесы писать, чем прокламации... Вы не поверите, до чего он был польщен. Прислал рукопись еще одного своего шедевра, а после амнистии тринадцатого года лично посетил. Переписка у нас была нерегулярная, а встреча вышла теплая: он был тогда безобидный, большевиков ругал... Все говорил, что на Капри мог спасти судьбу России, а ему не дали и кружок разгромили.

– И с тех пор не видались?

– Да откуда же, он с тех пор опять все по заграницам... И с большевиками помирился, кстати. Никаких прочных эмоций, он бы и кровному врагу через месяц простил. Добрая душа.

– Так сходите к нему, – предложил Стрелкин. – Вас он примет. Говорят, всех принимает, а с вами еще и дружен...

– Примет, как же! Он теперь шишкой заделался. Народный комиссар всего образования, можете вообразить?

– Ять! – Стрелкин смотрел на него укоризненно. – Ять, вы можете от голодной смерти тысячи человек спасти – и сидите в норе! Ведь их теперь, как монахов, выгонят на работы!

– Да чего вы все так боитесь? – в упор воззрился на него Ять. – Лучше лед колоть, чем так преподавать, как у нас в гимназиях...

– У меня отлично преподавали! – не сдавался Стрелкин. – И потом, не забывайте: они ведь все старики! Ладно, что вы сами живете анахоретом, – но ведь там люди, у них дети, в конце концов! Пусть бы дал им работу пристойную или хоть охранную грамоту: на физических работах не использовать до особого распоряжения, пока не введены новые нормы... У вас же там в Обществе сплошь филологи, вы сами рассказывали.

– Господи, кому теперь нужны филологи? – спросил Ять не столько у Стрелкина, сколько у потолка. – Мы-то, газетчики, последние дни доживаем...

– А потом что?

– Тоже лед колоть.

– А весной?

– Камень дробить, – усмехнулся Ять.

– Ну, как знаете. Если бы у меня была возможность попасть к министру и доброе личное знакомство...

– Да пойду я, пойду, – раздраженно бросил Ять. – Знаете, как татары говорят? «Судьба такой». И ведь знаю, что бесполезно... Но если вы не продолбите мне голову окончательно, я потом сам себя загрызу.

## 6

Изо всей своей жизни именно шестое января 1918 года Ять вспоминал потом с наибольшим стыдом. Если бы не визит к Чарнолускому, ничего бы, может, и не было. Только такой пустой, прозрачный человек, как он, мог сгодиться на роль проводника неведомой воли.

Чарнолуцкий сидел теперь в Смольном. Ничего страннее нельзя было придумать. Восстанавливая в уме долгий пеший путь с Петроградской стороны, Ять задним числом придумывал бесконечные спасительные отвлечения: вот тут бы я оскользнулся, подвернул ногу, повернул вспять, тащился бы к дому, цепляясь за стены... тут заглянул бы к Трифонову и, не найдя его, все равно задержался хоть на три минуты, а там меня бы уже не приняли или у комиссара успело перемениться настроение... На всем его пути были раскиданы невидимые препятствия. Самый явный знак – он его даже заметил, но не захотел учесть, – был дан почти сразу по выходе из дома, на углу Большого проспекта: двое темных тискали девку, невысокую и мордатую. Все трое визгливо хихикали в унисон. Как и все, что делали темные, это было особенно, не по-людски мерзко: девку не насиловали – с ней готовились сделать что-то не в пример более гнусное, и она, понимая это, не знала, как себя вести. В самом ее визге, в непрерывном тонком хихиканье прятался ужас. Ей хотелось и сбежать, и попробовать. Темные, когда Ять проходил мимо, уставились на него, оскалившись в одинаковых ухмылках. Все трое проводили Ятя взглядами (в глазах девки мелькнула на миг надежда и мольба, – но, как и всегда бывает в безнадежных ситуациях, все они, включая Ятя, знали, что он не вмешается; да и кого это спасло бы?). Поняв, что он пройдет мимо, девка принялась хихикать еще громче, а двое темных, замершие было, вернулись к своему занятию. Тут-то и можно было остановиться и помешать неизбежному – не ради девки, в конце концов, а ради отмены губительного визита. Но нет, он тащился себе через мосты, не встречая никого из знакомых, оскальзывался (день был серый, оттепельный, вязкий), но упрямо продвигался к цели.

В те первые месяцы охрана Смольного была поставлена из рук вон худо. Только предельной усталостью всех и вся можно было объяснить то, что никто не попытался проникнуть туда с целью убийства или переворота. Два смеющихся матроса стояли у входной арки; Ять сказал, что ему назначено, и назвал магическую фамилию. То ли вид его был слишком

непрезентабелен, то ли подействовало магическое слово «назначено», – тогда вообще сильно действовали слова, – но он и тут прошел беспрепятственно, не будучи ни о чем спрошен.

У Чарнолуского, при огромном кабинете в третьем этаже, была теперь своя приемная, секретарша с ремингтоном, стенографистка – Ятя еще умиляло поначалу, как, не в силах обзавестись никакими преимуществами власти, все они спешили заполучить ее невинные атрибуты. Преимуществ негде было взять – ели то же, что и все, одевались Бог знает во что, неделями не меняли белья, – но к их услугам были голодные девочки-ремингтонщицы и множество огромных пустых помещений. Позже, когда поток просителей стал увеличиваться с каждым днем, ибо упрочилась репутация Чарнолуского как главного либерала, он стал принимать и дома, где также завел секретаршу и стенографистку, потому что мысль для новой речи могла осенить его в любое время. Приемная была пуста, только блеклая девушка в розовой вязаной кофте сидела в углу за огромным, отчего-то бильярдным столом – обычных столов такого размера, видимо, не нашлось. Из одной лузы торчала кипа свернутых в тугие трубки бумаг, в другой, болтался стакан со вставками и карандашами.

– Александр Владимирович диктует, – сообщила секретарша, однако встала и пошла доложить (просителям давалось понять, что ради их нужд комиссар готов прервать даже столь исключительное занятие, как диктовка).

Ждать не пришлось. Дверь снова открылась, и девушка посторонилась, пропуская Ятя. Чарнолуский ходил по огромному голому кабинету, не прерывая диктовки. В руке у него был полупустой стакан черного остывшего чая, – и по мере его опустошения диктующий делал все более резкие жесты, не боясь уже расплескать драгоценный стимулятор, носивший, однако, характер скорее символический. Марксист-декадент был символистом во всем. Власти он предпочитал символы власти, действиям – образы действий, и теперь он пребывал в образе революционного трибуна, не спавшего третью ночь и диктующего сотое, уже вполне бесполезное воззвание. Внизу пальба, вот-вот ворвутся, последние из вернейших едва сдерживают натиск правительственных войск. Народ, вчера еще боготворивший вождя, сегодня предал всех, изменчивый, как фортуна. Продиктовать последние строки – уже не для этих свиней, но для истории.

Однако образ немедленно развеялся: Чарнолуский сделал несколько мелких, жадных глотков, вытер усы и на миг остановился, глядя в пол. Вид у него стал добродушный и несколько хомяковатый. Впрочем, он тут же поставил стакан, левую руку сунул в карман френчика, правую вытянул вперед и опять забегал, продолжая:

– И вот тогда... тогда французская поповщина, королевская полиция, буржуа-кредиторы всей тяжестью навалились на Луазона. Все они душили умирающего, толпясь, как страшные призраки, в полумраке его спальни. Тщетно поднимал он руки, пытаясь заслониться от них. Тщетно воздевал, как красное знамя, свой пропитанный кровью платок. Сострадания не было ниоткуда. Сегодня, из нашего великого времени, мы смотрим на него, распростертого в бессилии, и кричим ему во весь голос: Луазон, слышишь ли ты нас? Слышишь ли благодарные... нет, поправьте... слышишь ли бодрые голоса тех, за кого ты отдал жизнь? Но нет, он не слышит. Он умирает двадцать пятого сентября 1785 года, один, покинутый всеми, не дожив и до сорока трех лет. И черная камарилья попов, приспешников и любовниц кровавого короля танцует менуэт на его могиле.

Чарнолуский поглядел в пол, собираясь с мыслями. Ять вообразил себе камарилью попов, танцующую менуэт с королевскими любовницами, и тоже потупился, чтобы комиссар ненароком не увидел его улыбки. Грешным делом, он понятия не имел о Луазоне. Чарнолуский поднял голову, собираясь продолжить, – и тут взгляд его упал на Ятя (впрочем, весьма возможно, что он заметил его сразу, но не спешил прерывать картинную, приносящую наслаждение диктовку). Лицо его просияло. Протянув к Ятю обе руки, он разлетелся к нему через весь необъятный кабинет, ласково назвал по имени-отчеству и потащил к столу,

около которого стояли два изящных кресла, обитых голубым бархатом. Кресла явно были местные, смолянинские.

– Рад, рад, рад, – приговаривал он, усаживая Ятя и звоня в колокольчик. Тут же появилась секретарша. – Чайку! – крикнул Чарнолуский (не барственно, а по-товарищески). – Чайку товарищу Ятю! – Он жестом отослал стенографистку, не переставая потирал ручки и все улыбался, и Ятю стыдно было своих плохих мыслей о нем. – Я знал, знал: уж кто-кто, а вы придете. Свой брат литератор всегда разберется, за кем будущее. Да, гримасы, да, перехлесты. Но ведь стихия, стихия!

Ять рассеянно кивал, прикидывая, как подступиться к теме.

– Я знал, что вы будете наш, – не умолкал между тем комиссар. – Я читал вашу книгу об охране: удивительно ярко написано! И представьте, я ведь свое дело листал. Буквально все отслежено, вплоть до подарков детям: экая мерзость! Да разве ради одного этого, чтобы все мы увидели змеиный клубок, – не стоило опрокинуть всю махину? Сколько гнили, сколько трухи разом! И ведь многие-то полагали, что здание простоит еще века. Я сам (Чарнолуский понизил голос, даром что в кабинете их было двое), я сам не допускал и мысли, что так скоро и бесповоротно. Теперь-то ясно, что и не могло не удалиться, но тогда... Хорошо, что культурные работники придут к нам. Я в вас и не сомневался. Дела довольно, вам по горло хватит...

– Я, собственно, не из-за себя, – прервал его наконец Ять. – Про меня договорим еще, Александр Владимирович. Я по поводу декрета об орфографии, вчерашнего...

– А, – смущенно захихикал Чарнолуский. – Ну, батенька, это уж не я. Я – это первый декрет, от двадцать третьего. Но коллеги и ухом вести не хотят – что прикажете делать? Ну, тут, может быть, и перехлест. Мера временная. Годика на два, на три, пока не выработаются новые нормы. Просто чтобы крестьянство на первых порах не боялось излагать свои мысли. Мы ведь нуждаемся в сведениях с мест, а люди полуграмотные робеют взять перо в руки.

Очевидно, по мнению Чарнолуского, отмена орфографической нормы должна была внушить многомиллионному крестьянству тягу к перу: Ять представил стройные ряды крестьян, сидящих отчего-то среди заснеженных полей и старательно царапающих донесения в Смоленый.

– Я не о самой реформе, – принялся объяснять он. – Целый класс интеллигенции оказался не у дел, у нее сразу отняли сферу занятий... Я к тому, что, может быть, устройство на службу... или хоть разовое вспомоществование...

– Это само собой! – оживился Чарнолуский, которому и в голову не приходило такое роскошное благодеяние, мигом позволяющее новой власти реабилитировать себя перед интеллигенцией за прошлые и будущие неудобства. – Это разумеется! Конечно, всем дело найдется. Вы ведь словесников имеете в виду?

– Не только словесников. Они как раз не будут обижены: литература же остается, ее-то не упраздняют?

Чарнолуский учтиво улыбнулся.

– Я скорей о грамматистах, о теоретиках правописания... о корректорах, наконец. Я вообще думаю, что на время огромный отряд ученых-гуманитариев останется без работы. И если бы приискать им занятие... ну, не грубый труд, не к станку, естественно, – но просто переписка, или чтение лекций, или хоть делопроизводство... – Ять тут же устыдился сказанного, представив профессора Хмелева в приемной у комиссара, за бильярдным столом.

– Да, да! – воодушевился Чарнолуский. – Огромный отряд, вы неоспоримо правы! Зачем же делать из них наших врагов? Мы пришли вовсе не за тем, чтобы облегчить жизнь пролетариату за счет уничтожения остальных классов. Вы-то не можете не видеть, что интеллигенция бедствовала от Романовых много больше, чем народ. Я имею в виду – не количественно больше, но она имела возможность сознавать... – Тут комиссар понял, что

зарапортовался, но перед своим нечего было притворяться. – То есть я имею в виду, что утеснения свободного духа гораздо страшнее, чем телесные лишения. Мы взяли власть для всех, а не для одного класса! И конечно, интеллигенции всегда найдется дело. Чем заниматься мертвой наукой, охранять бездушную норму... представьте себе коммуны. Свободное сообщество интеллигентов, занятых свободной наукой. – Перед мысленным взором Чарнолуского тут же нарисовалась Телемская обитель, где раскрепощенная интеллигенция предавалась философии и музицированию. Все были в свободных, роскошно ниспадающих одеждах, несколько несообразных с климатом, но и климат будущего представлялся ему эллинским, словно только гнет самодержавия и подмораживал страну. – А сколько высвобождается роскошных зданий! – неостановимо фонтанировал комиссар. – Все правительственные учреждения, ненужные ныне дворянские собрания, особняки сбежавших от революции... да в самом скором времени и само государство отомрет – все это можно будет отдать под академии, театры, приюты! Аристократическая богема! – Он лукаво погрозил Ятью пальцем. – Та же фаланстера замученного Чернышевского, но не для ткачих, а для освобожденной интеллигенции. Коллективное творчество, синтез жанров! Небывалая в истории форма художнического сообщества, петербургский Монмартр! Какой же вы умница, что с этим ко мне пришли.

Далее Чарнолуский заговорил о возвращении слову «гимнасиум» его исконного смысла, о создании лицеев, подобных пушкинскому, но уже для городской бедноты (ведь только нищета не давала пролетарским детям достигнуть культурных высот – но теперь...). Ять вообразил того же Хмелева или даже полную ему противоположность, маленького горбатого Фельдмана, – нянчащимися с пролетарскими детьми: меняют пеленки, суют соски... Он широко улыбнулся, и Чарнолуский принял это за знак одобрения.

– А в ближайшее время их можно было бы обучать... гм! Ремеслам, – предположил он. – И, разумеется, лекции... а возможно, что и создание исторических летописей? Ведь все они – фундаментально образованные люди, а у рабочих неутолимая жажда знаний. – Он потому так ухватился за эту идею, что обнаружил наконец истинное направление своей политики. Прежде он так и не знал, с какого конца подступиться к просвещению, – теперь же все вставало на свои места. Профессура будет на него молиться.

– Я не заглядывал так далеко, – смущенно признался Ять. – Я говорил только о небольшой помощи писателям и филологам, и корректорам, если помните...

– Ненужных людей нет! – почти грозно вскричал Чарнолуский. – у нас не будет ненужных! Вы верно поступили, обратившись ко мне. И знаете что? Есть на примете превосходный дворец, он пустует который год. Елагин!

Это дикое совпадение Ять потом вспоминал как знак судьбы: он тоже в эту секунду подумал о Елагином дворце, расположенном буквально через два моста от его дома. Ять любил прогуливаться на Елагином острове и всегда любовался скромным изяществом его очертаний. Теперь так не строили: дворцы петербургских богачей последнего времени, выстроенные от дурного, стремительно нажитого богатства, отличались безвкусной роскошью без тени гармонии и особенно смущали своей принадлежностью к модерну. Упадок в сочетании с пышностью рождал ассоциацию с древним болотом, в котором гнили толстые стебли колонн и мясистые листья крыш. Елагин дворец, пусть в запустении, выглядел куда жизнеспособнее.

– Да, Елагин, – повторил он машинально. – Да, пожалуй.

Тут бы ему испугаться того, что его мысли совпали с комиссарскими, – но вместо того, чтобы испугать, это совпадение обрадовало его. Господи, чего он не дал бы, чтобы вернуть ту минуту, – полжизни, всю жизнь! – но тогда, шестого января, он сказал:

– Это хорошая мысль. Но ведь там запущено...

– Где сейчас не запущено! – вскричал комиссар. – Посмотрите, что делается в домах! Нет, мы дадим людей, мы за двое суток приведем здание в жилой вид. Каков символ! Дворец, принадлежащий императорской фамилии, заселяется тружениками петроградской профессуры! Новая власть отняла у них мертвое дело и дала живое! Я договорюсь, это наши оценят, – будут дрова, паек, всё подвезем. Это я решу, – он придвинул к себе стопу бумаги и принялся быстро писать, величественным жестом велел Ятю оставаться в кресле.

Ять попросил позволения закурить и с наслаждением зажег папиросу. Комиссар написал один за другим три документа, под каждым широко и торжественно расчеркиваясь, так что хорошее немецкое перо рвало плохую желтую бумагу. Подписав последнее распоряжение, он прихлопнул по столу пухлой ладонью.

– Вот-с! Нечего и оттягивать: у нас без бюрократии. С этим я попрошу вас подойти на второй этаж, к товарищу Андронову, – Чарнолуский был теперь сдержан и официален, но так и светился радостью. – Он решит вопрос о дровах. С этим – к товарищу Воронову, там же, буквально соседняя дверь. Он договорится об охране. И – в добрый путь, как говорится! Если и сами захотите – подумайте, право! Ордер выпишу тут же.

## 7

Новая государственная жизнь была свободна от сомнений: миры созидались на глазах, посредством слова. Ять хотел было попросить разъяснений, но тут дверь распахнулась, и секретарша, продолжая сдерживать напор невидимого буйного посетителя, крикнула:

– Александр Владимирович! Он кричит, что по сверхважному делу...

– Пустить немедленно! – только что не взвизгнул Чарнолуский. – Что у вас, товарищ?

В кабинет ворвался взъерошенный, грязный человечек в картузе и черном пальто, с красными, лихорадочно бегающими глазками и трехдневной щетиной.

– Я... это... экстренно... подать проект! – выкрикнул он. Ять идентифицировал его мгновенно – такие посетители, в массе своей безумцы, нередко осаждали его в газетах и всегда назойливо предлагали те или иные сумасшедшие проекты, иногда стихи. Чаще всего самородки происходили из мещан и быстро спивались. Ужасная вещь искусство, когда им занимается не предназначенный к нему человек: музы губят всех равно, но сколь обиднее гибнуть за всякую чушь...

– Что за проект? – участливо спросил Чарнолуский, тоже, кажется, начавший догадываться, кто перед ним.

– Об упразднении зимы! Чарнолуский глянул на Ятя и подмигнул.

– То есть как об упразднении? – спросил он с лукавой заинтересованностью.

– Человек есть двигатель природы! – выпалил посетитель. – Тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих – Римлянам, восемь, девятнадцать! Попроси – и дастся, скажи – и сбудется! Декретироване вечного лета. Экономия дров – раз! Всевременное плодоношение – два! Загар на лицах, приятная смуглость.

– То есть вы предполагаете запретить зиму законодательно? – спросил Ять. Человечек не удостоил его ответом, понимая, кто тут главный.

– Дело новой власти не есть освобождение одного только производящего класса, – напористо заговорил он, цитируя, видимо, давно написанный трактат. Грязные, скрученные в трубку листки (тот самый проект) были зажаты в его маленьком жилистом кулаке, которым он жестикулировал – однообразно, механистично, но бурно, как большевистские ораторы. – Не одного только производящего класса, но всей производящей силы природы. Имея силу слов как генеральный способ учредить всякое, поскольку и первичный Создатель сотворял

миры посредством словесного произнесения, то и сказать, чтобы не было зимы. И исполнится.

– Он остановился резко и неожиданно. Чарнолуский открыл было рот, но человека так же внезапно прорвало снова.

– Новая власть полагает себя в форме разговорных слов! – крикнул он и поднял палец. – Сказав, чтобы не иметь зимы, получим отступление зимы. Необходима печать, подпись. Прошу вашего представления на подпись и печать к тому, от кого зависит. Подумать также о должности комиссара природы, декретирующего, сколько быть урожаю.

– Хорошо, – важно кивнул Чарнолуский. – Оставьте ваш проект, я передам наверх.

Маленький оратор повернулся на стертых каблуках и стремительно направился к двери. Как все сумасшедшие, он, однако, не мог уйти сразу и уже у дверей так же резко повернулся к комиссару.

– Проект раскрепощения скотства! – крикнул он. – Имею также. Корова, конь, коза. Вольность курицы. Отпущение в свободный выпас и выпряжение из упряжи. Конец принудительных яиц, несись вольно. Вспашка машинами, электричество работай, конь гуляй и хвали Бога! Подаю после. – На этот раз он убежал окончательно.

Некоторое время Чарнолуский выжидал, не прибежит ли посетитель обратно, потом хлопнул себя по ляжкам и расхохотался. Сколько Ять мог наблюдать, у новых вождей принят был захлебывающийся, самозабвенный, преувеличенный смех, словно доказывающий их детскую чистоту. Смеяться надо было с наслаждением, до слез, откидываясь всем телом назад, – и так же резко прерывать хохот, как маленький оратор обрывал свои монологи: делу время, потехе час.

– А ведь знаете, батенька, – Чарнолуский взял Ятя за рукав, – в этой народной утопии есть свое зерно. Мы вернули им народного Христа, и этот Христос освобождает не только человека, но и коня, и корову – и даже (тут старый фольклорный сюжет) красавицу-весну из-под гнета жестокого ледяного деда! И потому со временем... почему бы и не отменить зиму?

Ять кивнул, улыбнулся и распрощался. Внизу его чрезвычайно любезно принял крошечный бородатый Андронов, сидящий в таком же необъятном кабинете и похожий на кроткого грамотного мужика.

– И как мне теперь действовать? – спросил его Ять.

– Не беспокойтесь, всё сделаем, – заверил его Андронов, и Ять отправился к товарищу Воронову, за соседнюю дверь.

У того кабинет как раз был маленький, словно подсобный, весь продымленный отвратительным зловонным табаком. Воронов некоторое время сверлил посетителя пронзительными недоверчивыми глазками, после чего в упор спросил:

– Вы лично могли бы назвать кого-то из профессуры? Кого-то, кто более всего нуждается в немедленной помощи?

Самым неприятным в товарище Воронове было то что он производил впечатление человека образованного, более того – казалось, принадлежал по рождению к более высокому сословию, нежели сам Ять. Странно было, что он курил такую мерзость. Лицо у Воронова было холодное, холеное, брезгливое, и первая мысль Ятя была о том, что перед ним – внедренный в большевистскую верхушку монархист, который теперь с откровенным презрением смотрит на интеллигенцию, пришедшую на поклон.

– Я мало общаюсь с профессурой, – не очень уверенно сказал Ять. – Думаю, что без работы сегодня практически все классические факультеты, все языковеды, большая часть учителей...

– Составьте список известных вам интеллигентов, которые бедствуют больше остальных. Старых, заслуженных, лишенных постоянной работы. Если задним числом вспомните кого-то еще – свяжитесь со мной. Три – шестнадцать – восемь – ноль.

Он придвинул Ятю лист бумаги и кивком указал на стул. Ять присел к столу и, макая перо в лиловые чернила, принялся составлять список. В эту секунду еще не поздно было бежать, но под парализующим взглядом товарища Воронова и пером-то водить было непросто, а уж о резких движениях не могло быть и речи. Ять подолгу задумывался над каждой фамилией. В конце концов, он ни с кем из Общества любителей словесности не посоветовался о визите в Смольный: может быть, никто из них вовсе не желал благодеяний от новой власти, более того – изначально речь шла о лекциях, школах или денежных выдачах, но вовсе не об отселении в какую-то коммуну, пусть и отапливаемую. Чувство было мерзкое, словно он доносил на кого-то. Поразмыслив, Ять перечислил имена, известные всякому образованному человеку в России, указывая в основном старых и одиноких. У семейных был шанс продержаться, а каково одиночке, он знал по себе. Сляжешь – никто воды не подаст. Когда Ять вышел из Смольного, на душе у него было смутно. Все было и смешно, и мило, и на первый взгляд гуманно, и притом так невозможно глупо и самодовольно, что никак нельзя было ждать ничего хорошего. Оставалось надеяться на то, что дальше утопических прожектов вроде создания Телемской обители на Елагином острове или упразднения зимы дело не пойдет. Но Ять плохо знал социалистов нового поколения, у которых от зарождения утопии до ее немедленного осуществления редко проходило больше суток.

## 8

Елагин остров, самый малый и болотистый из островов Невы, в первые семьдесят лет существования Петербурга был безымянен и с 1717 года принадлежал Шафирову, Петрову любимцу из жидов; Шафиров, как и все его племя, к землеустроению имел вкуса менее, чем к интригам, и в 1724 году передал узкую полоску земли длиной в десять верст генерал-прокурору Ягужинскому. Тот отдал ее, по-прежнему безымянную, в полное владение сыну, а сын переуступил князю Мельгунову, в чью честь остров и прозывался в последующие двадцать лет; после купил его Потемкин, но у него были дела в Крыму, и до благоустройства острова все не доходили руки. Ивы, лопухи и болотная трава разрастались на глинистой почве, в зарослях бегали зайцы, случался лось. Во время наводнений вода покрывала Мельгунов остров чуть не целиком, оставляя по себе следы бедствия – бревна и водоросли. Наконец во владение неухоженным, но живописным куском земли вступил обер-гофмейстер Екатерины, директор придворных театров Иван Порфирьевич Елагин – и остров по справедливости получил его имя.

В 1817 году Александр Павлович выкупил остров у потомков Елагина за изрядную сумму и на месте деревянного дворца замыслил строить каменный. Остров надобен был ему для того, чтобы разместить на нем летнюю резиденцию возлюбленной матушки Марии Федоровны. Дорога до Павловска занимала часа три, от езды Мария Федоровна скоро уставала – остров же был близко, в трех верстах от Зимнего дворца. Любящий сын пригласил знаменитого итальянца Росси и лично наметил, чему где надлежит быть в трехэтажном каменном дворце. До пятидесяти человек могло разместиться в просторном и светлом здании; особо государь распорядился, чтобы при разрушении деревянного дворца и постройке нового не тронули подземных ходов. Шел слух, что затейник Елагин изрыл подземными ходами весь остров и из дворца можно было извилистыми путями добраться до самых неожиданных мест – то выйти на дикий берег, то вдруг очутиться в дубовой роще, а то и под самым мостом, соединявшим Елагин с Петербургскою стороной. Но это, скорей всего, ввали.

К началу нового столетия остров и дворец пришли в запустение. Елагин являл собою дивный естественный сад на краю Петербурга, нечто вроде искусно воссозданной руины

среди регулярного парка. Луг перед дворцом зарос, беседка среди пруда грозила обрушиться, столбы ее позеленели; храбрым мальчишкам случалось доплывать туда на доске. Пруды покрывались ряской, медленно разрушался и сам дворец, населенный одними призраками великолепных времен. Странно было думать, что теперь дворец оживят. Впрочем, ежели вдуматься, более достойных жильцов, чем старомодные одинокие профессора, было для него не найти. Никто иной с тамошними призраками попросту не столкнулся бы.

Утром восьмого января матросы с броненосца «Стремительный», стоявшего у Английской набережной и всем экипажем перешедшего на сторону Советов еще в августе, по приказу комиссара просвещения принялись обходить петроградских филологов по списку. В списке после краткого совещания с товарищем Вороновым оставлены были люди одинокие и пожилые да небольшое количество творческой молодежи – для придания коммуне видимости организации молодой и жизнеспособной.

Процедура спасения выглядела своеобразно: обезумевший от страха, но старающийся держаться с достоинством профессор открывал дверь на грубый матросский стук и получал предписание в двадцатичетырехчасовой срок переселиться в хорошо отапливаемую санаторию, где ему будет предложен специальный академический паек и работа на благо победившего пролетариата. Уклонение от этого благодеяния будет расцениваться как саботаж, ибо новая власть не желает, чтобы научные кадры вымирали в холоде и неизвестности. Был обещан медицинский уход, разрешалось взять с собою произвольное количество книг и личных вещей, гарантировались же все эти льготы и пайки личной подписью народного комиссара просвещения под ремингтонированным обращением к петроградским ученым.

Большинство обласканных восприняли новую меру народной власти как давно ожидаемый арест: варвары не склонны были терпеть представителей старой культуры и решили свести с ними счеты. Профессура собрала необходимое и приготовилась к худшему.

Дивное зрелище являли собой эти сутулые, угрюмые люди, еле ползущие по родному городу под охраной! С Васильевского, из Университетских казарм, с набережной Пряжки, с Невского, с Морской и Преображенской вели их в обитель совершенного счастья. Иные шли прямо, упрямо, с вызовом глядя в снежную тьму; иные оглядывались по сторонам в твердой уверенности, что в последний раз видят свой город.

К одиннадцатому января в коммуну заселились первые двадцать человек. Уже десятого, по приказанию комиссара просвещения, была разобрана на дрова гауптвахта, стоявшая на краю острова и исторической ценности не представлявшая; гостевые комнаты на втором этаже были распределены – и многие еще остались свободными. Из давно пустовавшей гостиницы «Приют рыбака», что на Лодейной, перетащили кровати, одеяла, белье: матросы, жалея старичков, работали споро. Едва ли было в Петрограде в январе восемнадцатого года помещение более благоустроенное, нежели Елагинская коммуна, – разве что инвалидный дом на Таврическом, где обитали раненые борцы за мировую революцию. Но от раненых бойцов толку не было, они знай себе пили (где только доставали?) да горланили непристойности; а жителям Елагиной коммуны надлежало создавать культуру для нового времени и примирять вековую традицию с бурлящей, кипучей современностью, как поведал собравшимся лично нарком вечером одиннадцатого января.

Чарнолуский долго выбирал обращение («товарищи» было неуместно, «господа» – откровенное заискиванье). Наконец он остановился на невинном «коллеги!». Прежде всего он посулил полную свободу и совершенное благоприятствование, почтение к бывшим заслугам и регулярное питание («Вот здесь, в этой пленительной овальной столовой, где прежде наслаждались незаслуженным изяществом и роскошью цари и их прихвостни, – теперь сможете собираться вы, подлинная гордость нации!»). На вопрос, дозволяется ли покидать ком-

муну, был дан безоговорочно положительный ответ. Комиссар покался даже, что новая власть, на знамени которой начертано не только слово «свобода», но и священное слово «гуманность», не сразу смогла заняться насущнейшим вопросом прокорма и обогрева интеллигенции, – «но, как вы понимаете, столь полное переустройство жизни предполагает внимание ко всем сферам бытия, и не всегда поймешь, с чего начать».

– Позвольте вопрос, – поднялся автор популярного толкового словаря Долгушов. Он говорил медленно, с отступлениями, как люди недавнего века, еще уверенные, что у них много времени. – Вы утверждаете, что ваша главная задача – сохранение культуры, если я верно мог понять ваш тезис. Но как тогда объяснить ваше решение поместить всех нас в Елагин дворец, – памятник старого времени?

– Я понял, понял вас, – торопливо прервал его Чарнолуский. Он уже на середине долгушовской речи успел сообразить, как ответить на эту подковырку. Отвечать старику надо было медленно и пространно, в его духе. – Вы совершенно точно заметили, что именно культурными людьми и должен быть заселен дворец-памятник. Тут метафора всей нашей культурной политики, если угодно. Что лучше: постепенное разрушение и запустение дворца, находящегося в распоряжении правящей фамилии, – или передача его в собственность культурному учреждению, занятому выработкой новой языковой нормы?

– И то сказать, – шепнул Долгушову фонетист Кривицкий, – лучше мы, чем хамы! Долгушов промолчал.

– Но уж посудой извольте озаботиться! – крикнул с места Хмелев. – Я с музейного фарфора не ем!

– Завтра же будут привезены оловянные солдатские миски, – успокоил его Чарнолуский. – Я полагаю, это не унизит вашего достоинства? Ведь речь идет о сохранении музейного сервиза!

Он не мог не съязвить: старик уж очень явно не желал ценить благодеяния. А ведь, между прочим, хотя дрова ничего и не стоили новой власти, но гауптвахту разобрать, да еще и на холоде, – тоже работа. В Чарнолуском вспыхнула внезапная ненависть ко всем этим людям, которые, занимаясь всю жизнь десятистепенными вещами, ни секунды не бедствовали, прекрасно уживались с царизмом, а теперь воротят нос от попытки дать им дружный, творческий быт!

– Одного не пойму, – выпрямившись во весь свой немалый рост, ядовито спросил профессор Алексеев. – Чем вам помешал ять – догадываюсь: все неучи на него роптали. О другом скажите: неужели вы впрямь верите в письмо без правил? Весь мир блюдет законы орфографии, без нее люди разучатся понимать друг друга..

– Вы же понимаете, что это временная мера, – сдержанно произнес Чарнолуский. – Я и сам считаю, что некоторая чрезмерность... Вам известно, что первый проект реформы – мой – дружно был проигнорирован... Сегодня, чтобы тебя услышали, надо стрелять из пушки. Невозможно сомневаться, что орфографическая норма будет создана заново. Это ваше дело, ничье более. Я верю, что мы выработаем общий язык!

Чарнолуский хихикнул, но его никто не поддержал. Он поклонился и уехал, утешая себя тем, что до открытой конфронтации дело не дошло, а приручение интеллигента, в конце концов, – вопрос времени.

Благоустройство дворца пошло полным ходом: как все старинные постройки, он был лишен простейших удобств, – в бывшей людской поспешно соорудили нужник, отрядили матроса почистить дымоходы, проверить печи, которых не топили лет пятьдесят, – хорошо, что Росси, хоть и выполнял заказ на постройку летнего дворца, помнил про северное лето, остающееся карикатурой южных зим. В обеих гостиных были большие каминные, в гостевых комнатах зодчий предусмотрел голландки. Для кабинетов, где голландок не было вовсе, двенадцатого января были доставлены ржавые печки на четырех коротких лапах, – они рас-

калялись мгновенно, но страшно дымили, даром что матросики вывели все трубы в форточки. Дворец, обросший этими трубами, приобрел вид уютный и гротескный. Горбунов, специалист по русским говорам, не устававший повторять, что он пешком обошел всю Россию, и вдобавок сильно окавший (правда, в волнении окать забывал и переходил на обычный петербургский манер), долго потешался над профессурой, не умевшей печи растопить и лучины нащепать, – но собственная его печь как раз и дымила больше всех, а топить умел один лексикограф Соломин, прирожденный барин, сын волжского помещика. Трудно было вообразить манеры более широкие, руки более холеные, – однако он этими холеными руками починил в своей комнате замок, с первой спички растапливал печурку, исправил в овальном зале гигантские древние часы, которые радостно принялись бить... Его постоянно зазывали в гости – устранить мелкие неисправности. Эти бары откуда-то все умели, хотя сроду ни в чем не нуждались.

На следующий день профессора вычертили график кухонного дежурства, и Горбунова, больше всех кичившегося привычкой к ручному труду, поставили первым. В его обязанности входило нарезать хлеб (Чарнолуцкий выбил для профессуры богатый паек – почти в полтора раза больше, нежели приходилось по карточке), но главное – сварить моржевятину. Моржевятиной этой прежде кормили кошек, которых держали в половине петербургских домов. Чарнолуцкому о ней рассказал новоназначенный комиссар продовольствия. Странное мясо никто не хотел есть, попытка выдавать его в пайках вместо селедки провалилась. Чарнолуцкий распорядился отвезти продукт на Елагин остров: в конце концов, профессора были люди без предрассудков и понимали, что перед ними питательный продукт.

Матрос Елисеев выдал Горбунову несколько брусков серого, в прожилках мяса, отмерил крупы и помог отнести буханки. Отсыпал и чаю, и даже сахару. В кухне стояла древняя дровяная плита, Горбунов возился около нее полчаса, Елисеев наблюдал, посмеиваясь в усы. Завтрак назначили на половину одиннадцатого – интеллигенция привыкла вставать поздно. В одиннадцать в кухню прислали фонетиста Кривицкого и поинтересовались, скоро ли. Горбунов прогнал его с ругательствами. В половине двенадцатого к Горбунову прикомандировали Соломина. Через час Соломин и Горбунов, на ходу дружелюбно переругиваясь, втащили котел и подволокли его к т-образно расставленным столам. Их встретили аплодисментами. Следом матрос Елисеев в одиночку тащил гигантский чайник кипятку. Каша пахла отвратительно и пригорела.

– А вы не смейтесь, – огрызнулся Горбунов. – Я по Заонежью ходил, в Кижях, в Архангельске был... Я в одиннадцатом году до бурятов дошел...

## 9

В семнадцатой камере Трубецкого бастиона сидели в тесноте и тревоге одиннадцать человек, взятых в разное время с октября по декабрь. Большинство знали друг друга по правительству и Думе. В любой европейской стране такое собрание министров и депутатов считалось бы блестящим, но в России, где министры вместе с товарищами в последние месяцы сменялись чуть ли не ежедневно, это было растерянное и озлобленное собрание людей, давно не сознающих собственного значения. Тем обиднее было сидеть, в сущности, ни за что. Всех взяли просто потому, что революционная смена власти традиционно обозначалась арестом предыдущего правительства. Если б не аресты, то и видимости революции не было бы. Участие в бессмысленном спектакле, умирать в котором, однако, приходилось по-настоящему, не устраивало обитателей семнадцатой камеры.

В этой же камере сидел товарищ министра иностранных дел переводчик Оскольцев – невысокий, изящный, нервный человек, всегда успевавший очень много. Он вечно

был в движении, с жадностью первопроходца объездил свет, говорил на французском, английском, итальянском, немецком, португальском, учил японский, переводил готические романы, печатал работы по сравнительной истории, толмачил Верхарну и Маринетти, когда их, смущенных и недоумевающих, таскали по питерским богемным сборищам. К тридцати семи он успел немисливо много в самых разных сферах – и без лихорадочной, всегда спешной работы не мыслил себя. За ним пришли двадцать седьмого октября, и то по глупости – он был арестован вместе с редакцией невиннейшей географической газеты «Весь свет». Причиной ареста был ложный донос, и прочих сотрудников немедленно выпустили – но Оскольцев был уличен в причастности к правительству и переведен в Трубецкой бастион.

– Вас-то за что? – изумился министр исповеданий Серапионов.

– За что и вас, – усмехнулся Оскольцев. Он еще держался, но никто не знал, чего ему стоила бодрость в первые дни незаконного ареста.

Теперь все мысли Оскольцева были неотступно сосредоточены на смерти, скорой и неизбежной. Во время бурной и, в сущности, бессмысленной работы он ни на секунду не забывал, что все катится в бездну. Теперь бездна придвинулась к самым глазам, но отвлечься уже было нечем. Кипение его жизни, непрерывные разъезды, вереница экзотических впечатлений и знакомств – все было следствием отроческого, так и не преодоленного ужаса перед самой идеей внезапного и бесследного исчезновения, приговора, вынесенного ни за что. В ранней юности он мог еще утешаться тем, что умрет пресыщенным, усталым, вкусив от всех пороков и соблазнов; выяснилось, однако, что к иным порокам – вроде пьянства или курения опиума – он не имеет склонности, другими же соблазнами – вроде женской любви и других чувственных впечатлений – пресытиться никак не может.

Кто чего боится, то с тем и случится, любила повторять одна из его возлюбленных (песни, пословицы, узорный плат, тихие разговоры о странницах и монастырях – у девочек, возвращенных на всем французском, была одно время эта мода на все русское, то есть билибинское, конечно). Вечно боявшийся замкнутости и неподвижности, трех дней не способный высидеть в одном городе, Оскольцев был теперь остановлен на бегу и лишен пищи, в которой больше всего нуждался, – пищи для острых глаз и неутомимого ума. Привыкнув удерживать в голове множество тем и взаимоисключающих мнений, он томился во время монотонных и бессмысленных споров, путался в ненужных деталях и раздражался на собеседников. Его раздражала даже болезнь Шергина – что уж говорить о лени Ватагина, ограниченности Бельчинского, злобе и барственных замашках Гротова, флегматичности Гуденброка; главное же, на чем он часто и удивленно ловил себя, – ему с первого же дня стало казаться, что по-настоящему обречен он один, а все эти люди, в сущности, ничем не рискуют.

Ему казалось, что и матрос Фокин – начальник охраны – относится к нему грубее, нежели к остальным; и на единственном допросе, который снимал полуграмотный мальчишка лет восемнадцати, ему – судя по тому, что рассказывали о своих допросах другие, – задавали самые пустые вопросы, лишь бы как-то закамouflировать произвол. Оскольцев не получал передач, избегал разговоров (ибо говорить мог только об одном – о предстоящей ему смерти) и к декабрю ни о чем другом думать не мог. На воле у него остался старик-отец и младшая сестра. Отец был крепок и вынослив, но думать о нынешнем его положении Оскольцев боялся. Вспоминать о доме вообще было нельзя – тут же накатывала постыдная слабость и подступали слезы. Инстинктом узника он дошел до вечного арестантского правила: дома как бы не было, он запретил себе мысль о нем.

10

В семнадцатой камере, как всегда, спорили – на этот раз о странном корниловском походе. Ватагин с Гротовым не сомневались, что сам же Керенский и спровоцировал выступление; Баранов, товарищ министра внутренних дел, с вечной детской улыбкой на пухлых устах доказывал, что в теории заговора верить смешно. Спор был прерван грохотом сапог в коридоре, тут же раздался скрежет замка, и грозный усач Фокин просунулся в дверь.

– Баранов! – крикнул он. Баранов вскинулся и побелел.

– Я Баранов, – отозвался он сразу севшим голосом.

– Сюда иди, – позвал моряк. Баранов принялся дрожащими руками собирать вещи.

– Брось, без вещей покуда, – добродушно сказал моряк. – Успеешь с вещами-то.

Это Баранова не успокоило. Он зачем-то вынул вещи из мешка и стал раскладывать, словно видел в этом свое спасение.

– Живо! – прикрикнул Фокин уже без всякого добродушия. – Возиться мне тут с вами...

Баранов с трудом выпустил мешок, оглядел камеру, и устремленные на него взгляды, в которых не было теперь ничего, кроме ужаса и сочувствия, вернули ему силы. Он кивнул всем сразу и быстро прошел к дверям. Фокин выпустил его и снова заскрежетал ключом. Прозвучали удаляющиеся шаги. Некоторое время все молчали.

– На допрос, вероятно, – подал голос товарищ министра транспорта Головин.

– Фокин – на допрос? – возразил Гротов. – Этот не допросчик, этот – мясник...

– Что ж, пытаться? – спросил Оскольцев, испугавшись собственного вопроса.

– Чушь не порите, – одернул его Ватагин. – Возможно, свидание...

– С чего бы ему дали свидание?

– С того, что денег сунули кому нужно. В России за деньги всегда можно было что угодно. Я когда в четвертом году за карикатуру в «Пути» сел на трое суток, так ко мне друзья девицу в камеру прислали. Мне не до игр было, отослал.

– Другое время было, – вздохнул Карамышев.

– Чушь не порите, – повторил Ватагин. – Не было и не будет другого времени.

Тут Фокин снова открыл дверь и втолкнул Баранова, еле державшегося на ногах. Баранов сиял, по лицу его блуждал особенный свет внезапно обрушившегося счастья.

– Что, выпускают? – спросил Ватагин.

– Нет, нет... Он... он денег попросил.

– Как денег, каких денег? – заговорили все разом.

– Спросил, нет ли со мной денег... Ему надо зачем-то...

– Так ведь обыскивали всех при аресте, неужто он не знает?

– Он же и обыскивал! – крикнул Карамышев.

– Ну, не знаю... Может, решил, что я утаил что-то... или передали... Словом, спрашивал о деньгах. Я сказал, что нет.

– Тьфу, ослы! – выругался Ватагин. – Как тогда надзирать ставили ослов, так и теперь...

Переполошил только зря, хамская рожа.

Баранов, продолжая сиять, прошел к своей лавке и долго еще сидел молча, не участвуя в общем разговоре. На самом деле, разумеется, ни о каких деньгах речи не шло. Фокин вручил ему записку от матери, французскую, чтобы матрос ничего не понял, если бы даже и захотел прочесть. В записке говорилось, что подателю ее можно доверять абсолютно и что вскоре он выведет Баранова на свободу, в чем поклялся и уже получил задаток. Подделка была исключена – Баранов узнал почерк матери и известное им двоим обращение «Mon petit genard» – лисенок, – столь жалкое и дикое в подобной записке. Ясно было, что мать сделала это не в избытке чувств, но имея в виду пароль. Баранов потом только вспомнил, что Фокин

не предложил ему написать ответ – а через час он был уже убежден, что против него готовится многоходовая провокация и что теперь он будет убит при попытке к бегству.

## 11

Едва Фокин ушел, пообещав выпустить сына по поддельному ордеру, не помнящая себя от безумной надежды мать Баранова кинулась к публицистке Евдокии Сокольниковой, в чьем политическом салоне ее *petit renard* был одной из ярчайших звезд; Сокольникова, для которой составление и разоблачение заговоров было, как говорила она сама, хлебом и солью жизни – то есть источником заработка и острейшим наслаждением, – тут же увидела за матросским визитом подвох. Мгновенно сплетена была история о том, что против нее, Сокольниковой, духовного и умственного центра оппозиции, готовится серьезная провокация, первой жертвой которой должен стать Баранов; шантажируя его попыткой к бегству, «они» вытянут из него сведения про всех, а возможно, что и заставят кого-то оболгать (не возражайте, не возражайте, вы не знаете, что они делают с людьми, после этого можно продать отца родного!), и тогда... о, тогда! Что делать, говорите вы? Делать надо было прежде, когда к вам пришел этот провокатор. Теперь я и сама не знаю, что делать, кроме разве что... Разве что только одного: надо немедленно его сдать, сдать его собственному начальству! Ирода можно только переиродить: он назвался вам? Нет? О, конечно, нет! Может быть, показал какие-то документы? Нет? Естественно: этого следовало ждать. Но вы хорошо его запомнили? Слава Богу, и на том спасибо, хотя мордатых и усатых там полно, они все мордатые и усатые. Мы немедленно, немедленно должны идти к Ворониной, она знает путь к Аренскому, а Аренский, председатель следственного комитета, может доложить на самую их верхушку. Пошли к Ворониной, не застали, ждали (все это время мать Баранова думала, что не выдержит, – но выдержала, только не могла потом без содрогания смотреть на дом Ворониной на углу Большой Морской, где им пришлось провести в ожидании два чудовищных часа); с Ворониной – уже в девятом часу вечера – ринулись пешком к Аренскому; тот не хотел ничего слышать, весь день мотался по холоду, лег спать, но Воронина настояла, чтобы их приняли – да, да, в последний раз, вы не знаете, о чем идет речь, готовится такое, что и вас может задеть... Аренский выслушал, выбежал, стремительно переоделся, позвонил куда-то, вызвал автомобиль, и автомобиль через полчаса примчался. «Не думаю, чтобы... – повторял Аренский. – Скорее простая алчность... не думаю, чтобы... главное, чтобы ни одна душа не знала, что вы были здесь!» Он подвел ее к автомобилю, впихнул на заднее сиденье, сам молча сел рядом с шофером, и машина понеслась по ледяной улице.

Остановились у трехэтажного здания на Шпалерной; Аренский предупредительно открыл, перед Барановой дверь.

– К Бродскому, – небрежно бросил он матросу, дежурившему на первом этаже.

Поднялись по затоптанной мраморной лестнице. Маленький остробородый председатель ЧК горбился за столом в продымленной, жарко натопленной комнате.

– Вот, извольте видеть! – с порога заговорил Аренский. – Матери арестованных оказываются сознательнее, честнее их охранников! Мне только что доложили, что к ней приходил матрос и обещал за золотую брошь освобождение сына!

– Кто такой сын? – раздраженно спросил Бродский. В этом человеке было воспалено все глаза, горло, интонации. Баранова окончательно поняла, что погубила своего Сашу.

– Баранов, член Думы, – пренебрежительно сказал Аренский. – Не в сыне дело, а в ваших людях, которые элементарно воруют при первой возможности...

– До разбирательства никто не смеет обвинять моих людей! – крикнул Бродский. – Где ее сын?

– В Трубечком, – еле слышно пролепетала Баранова, и Бродский впервые внимательно посмотрел на нее.

– Сядьте! – крикнул он голосом, каким привык произносить угрожающее «встать!». Только обмороков ему не хватало. Она опустилась на стул и принялась непослушными пальцами расстегивать воротник. – Что за матрос? – спросил он, обращаясь уже к ней. Аренский был ему противен давно, а теперь, когда тот мог ткнуть ему под нос историю с продавшимся матросом, Бродский вдвойне ненавидел его.

– Высокий, полный... Усатый... Красное лицо...

– Знаки различия?

– Я не понимаю в знаках различия...

– Почему вы пришли доложить о нем? Вы что, не хотели спасти сына?

Тут только Баранова поняла всю меру своей ошибки: поведение ее в самом деле выглядело необъяснимым. Но судьба сына, висевшая теперь на волоске, зависела исключительно от ее ума и самообладания, а потому она собралась с духом и нашла единственно возможный ответ.

– Я... я знаю, что мой сын ни в чем не виноват, – сказала она, задыхаясь, – и потому он выйдет на свободу сам, законным путем, как только в его деле разберутся.

Возразить было нечего. Бродский хмыкнул, буркнул, записал ее адрес и пообещал принять меры.

– Но вы понимаете, что если такое творится в охране крепости, то полагаться на остальных тем более нельзя? – в упор, словно продолжая давний спор, спросил Аренский.

Баранова каким-то чутьем понимала, что ее история необходима Аренскому в собственных, не совсем чистых целях, что он ведет двойную игру и хочет свалить Бродского. И она была рада, когда Бродский – видимо, наделенный немалой властью – грубо ответил:

– Я сказал уже, что обо всем доложу в Смольный. Вы можете сейчас идти.

– Если не доложите вы, доложу я, – желая оставить за собой последнее слово, сказал Аренский и быстро вышел.

Баранова попыталась встать, чтобы идти за ним, но поняла, что подняться со стула не может. Она хотела крикнуть, чтобы Аренский подождал ее, но ему было не до нее – она свое дело сделала.

## 12

Бродский, как и обещал, разобрался во всем. В охране Трубечкого бастиона был только один краснолицый и усатый матрос – заслуженный боец революции Фокин, которого нельзя было наказывать слишком сурово, поскольку товарищи его любили и в Смольном он был лично известен. А потому Бродский тихо убрал Фокина с должности начальника караула, переведя его в свою личную охрану для испытания. Сам он три дня спустя посетил семнадцатую камеру, допросил Баранова (перепуганного до потери сознания), пообещал в ответ на его мольбы, что матери его никто ничего не сделает, и спросил заключенных о жалобах. Жалоба оказалась одна: Кошкарев и Шергин были больны и просили перевести их в больницу, пусть под надзором. Вся камера присоединялась к этой просьбе, потому что надсадный кашель одного и тихое, сосредоточенное, кроткое умирание другого были непереносимы. Бродский немедленно распорядился перевести обоих в Лазаревскую больницу, а остальным пообещал, что дела их будут в срок рассмотрены и никто не пострадает напрасно.

– А сейчас мы не напрасно тут страдаем? – крикнул Гротов.

– Никто не страдает напрасно, – почти библейски ответил Бродский.

– А почему ваш цербер каждый день орет, что на нас только хлеб переводить?

– Надзиратель сменен, – с ненавистью сказал Бродский. Ему тошно было от мысли, что классово чуждые опять умудрились взять верх над классово своим.

### 13

Жизнь в Елагинской коммуны в первую неделю после перемещения была горька, весела и беспорядочна. Филологи и ежедневно пополнявшие коммуны писатели радовались перемене в своем быту, восхищались абсурдностью происходящего и беззлобно издевались над собственной беспомощностью. Давно не собиралось в городе столь блистательного филологического общества. Лингвисты и палеографы, представители разных течений и школ, философы и сочинители, модернисты и реалисты, никогда не умевшие преодолеть разногласий, были наконец объединены по общему признаку ненужности, которая добавляла им веселья.

Слух о том, что в Елагинском дворце собирают и кормят интеллигенцию, разнесся по городу мгновенно. К двадцати его обитателям уже в первые три дня прибавилось еще двадцать, да множество народа заходило в гости.

С идеей обучения ремеслам все как-то застопорилось, и Чарнолуский остановился на варианте создания истории петербургской промышленности. Его эмиссар Бунтиков, прибывший в Елагин дворец девятнадцатого января, предложил каждому взять на выбор любой завод, находившийся ближе к первому жилью или симпатичный будущему хронисту по иным причинам. Петербургские фабрики были разобраны без особенного энтузиазма; Долгушов предложил лучше писать историю университетов («потому что истории всех промышленников сходны – убил, ограбил, купил завод», – добавил он), но поскольку пролетариат в университетах не обучался, он не мог нуждаться и в их истории. Разумеется, со временем... но пока актуальнее были заводы. На следующий день добровольцы взялись за дело.

Отношение к новой работе было в коммуны самое благожелательное, и диктовалось оно, как ни странно, врожденным чувством вины. Победивший пролетариат не только не отнял у профессуры права на жизнь, но и попытался вручить ей новое орудие заработка. К тому же действовала столовая, к чаю бывал желтый тростниковый сахар (откуда он брался – никто представить не мог; на самом деле запасы его были реквизированы еще в конце декабря у купца Голубкина – он задешево взял его на Кубе и думал, что в Петрограде расхватают, но подозрительность в городе была сильнее голода, желтого сахара никто не брал, говорили, что народ хотят выморить, отчаявшись спасти). Исправно подвозились дрова. Хмелев, пожелтевший от злости, за столом ни с кем не разговаривал, на приветствия отвечал сквозь зубы и чай демонстративно пил без тростникового сахара. Но Стежкин искренне не понимал, почему бы не поработать, и Фельдман также не имел предубеждения против нового занятия.

– Ведь вы подумайте, – с милой, утрированной интонацией, словно труня над своей слишком типичной внешностью, говорил он за ужином пятнадцатого января. – Мы, люди книжные, никогда не имели возможности понять, как все работает. Я, например, на заводе сроду не был, станка в глаза не видел, от политической экономии зевота брала. Теперь же мы получили как бы другую жизнь, потому что человек, умственно организованный, из всего извлечет урок...

– Вот вы и извлекайте! – прошипел Алексеев, правая рука Хмелева и большой доброжелатель Союза русского народа. – Идите на службу, и пусть вам заводская пьянь диктует про свою жизнь! И я бы еще понял, – продолжал он, все больше распаляясь, – я бы еще понял, ежели бы вас поставили выправлять грамоту: они ведь «пролетарий» напишут через ща! Но теперь, когда грамоты нет и стерта всякая граница между вами и любым сукиным сыном, –

теперь-то вы им на что нужны? Придавать литературного лоску? Я, пролетарий Тютюкин, рожден во граде святого Петра от бедных, но благородных родителей Ионы и Евлампии, влачивших скорбное свое существование под гнетом неусыпного капитала, – так, что ли? Все грохнули, улыбнулся и Фельдман.

– Я бы не стал презирать Тютюкина, – заговорил он уже без всякой местечковости, тем прекрасным, исконным русским языком, глубоким и низким голосом, который так странно сочетался с его карикатурной внешностью. – Как хотите, но всю жизнь нас кормил Тютюкин. Сами мы и поля не засеяли, и гайки не завернули...

– Вот, вот она! Вот толстовская зараза! – захохотал Алексеев. – От него все и вышло! Я сытый, я праздный – пусть я иду теперь пахать, а дочь моя пусть босиком глину месит. Да ведь он для того и хотел пахать, чтобы заглушить мозг. Умственная деятельность требует комфорта, специальных условий...

– Праздности, если угодно, – поддержал его профессор Долгушов. – Душевного равновесия, если угодно...

– Но вам пока и не предлагают физического труда, сколько я понимаю, – вступил молодой Борисов, фонетист и большой друг футуриста Мельникова. Он был высок, толст, сказочно силен, обладал при этом мягкими манерами и сочным басом; богатырский облик довершала светло-русовая борода. – Предлагают записать рассказы рабочих, просмотреть архив – это же не снег чистить, в конце концов? Они пока проявляют уважение к науке – другое дело, что уважение внешнее, присущее людям малокультурным. Они уважают тело культуры, а не дух ее. Дворцы, музеи...

– Гадят они в музеях! – взвизгнула диалектолог Седова. – Они везде гадят, их единственная цель – гадить...

– Положим, это не они, – благодушно продолжал Борисов. – Есть элемент темный, неразвитый, не спорю с этим, но сознательный рабочий не таков. Больше того: маляр, который постоянно у меня работал, – я его на все работы звал, кухарки нашей родственник, – был один из интеллигентнейших людей, которых я вообще видел. Он копейки лишней не взял, а работал так, что загляденье. Он делал свое, а я свое, и не понимаю, почему он хуже...

– Так по нынешней мерке вы хуже! – вскинулся Алексеев. – Вы только на то и годны, чтобы писать историю заводов! Ваше дело речь изучать, а не историю заводов...

– Господа, а я так запросто, – желая вернуть беседу в мирное русло, заметил очеркист Ловецкий. – Я тоже, смею сказать, человек не без образования, филолог, всё чин чинком. Но как-то оно пошло: раз написал в газету по заказу, два – согласился дать рецензию, три – обзор театральный... а уж кто с газетой связался, тот пропал с головой. Сами понимаете – в «Беседе» много не намолотишь. Пишешь невозможный рассказ из жизни маркиз и баронов, бежишь к Тарновскому в «Газету для всех» или в «Дорожный журнал» – помните, он на любом вокзале лоток имел, как раз до Петергофа всего журнала хватало, – «Константин Петрович, вот-с, не угодно ли?». Что ж вы думаете, господа, если я про маркизу Рене писал, как она яду выпила, увидевши, что барон Лаваль ее дочь целует в беседке, – что ж, я про завод не напишу? Я про марсианскую жизнь напишу!

– Вам, Илья Васильевич, хорошо, вы газетчик, – вздохнул Долгушов. – Нашему-то брату книжнику каково? У нас если кто и сливается, то «не» с причастием, если кто и беглый, то гласный...

– Образованный человек, Владимир Николаевич, – назидательно сказал Ловецкий, – про все может написать. Гимназист – и тот в идеале должен связную новеллу составить «Как я подглядывал за купанием сестры». И я поспорю с любым, – он с веселым вызовом оглядел компанию, чувствуя, что ненадолго предотвратил назревавший скандал, – что напишу такую историю заводов – никто не оторвется. Назначьте экспертов, и клянусь – будет лучше Дюма.

Через неделю Ловецкий обязался представить свой вариант «Истории заводов». Расходились после ужина повеселевшими, и педант Комаров, лучший петербургский словесник по прозвищу Пемза, с гордой радостью думал о том, что вот ведь – дров еле хватает, холод, сырость, гнусная моржеватина, а образованные люди находят предметы для спора и спорят не о трудном быте, а о материях высоких, вполне абстрактных. В этом и было отличие его клана, единственное, если вдуматься. Можно было поместить пролетариев во дворцы, кормить четырежды в день и купать в ваннах с розовыми лепестками, – и все равно темой их бесед оставалось бы пьянство, бабы и собственные телесные недомогания. Но можно ввергнуть интеллигента хоть в геенну – он и там немедленно поспорил бы с другим интеллигентом из-за толкования строчки Гегеля. Эта способность воспарять из любой бездны, в узилище дискутировать о грамматике, на смертном одре хохотать над опечаткой казалась ему едва ли не свидетельством бессмертия души.

## 14

Ах ты Господи, а ведь это первый раз, что я побываю во дворце, думал Ять, еще с моста пытаюсь углядеть в силуэте летней резиденции признаки перемен. Прежде всего он заметил трубы, торчавшие из окон и странным образом придававшие зданию промышленный вид.

Отчего-то он чувствовал перед любителями русской словесности подобие вины. Впрочем, едва ли в собственных вымерзших квартирах они чувствовали бы себя в большей безопасности. Он не сразу решился на посещение коммуны – прошла почти неделя со дня ее открытия, о котором он и не знал. Телефоны давно уже работали непредсказуемо – когда два, когда три часа в день, подчас ночью; один раз его разбудил странный ночной звонок доселе молчавшего телефона – рыдающий старушечий голос все повторял: «Папочка! Папочка!» Верно, какая-нибудь старуха сошла с ума от голода и страха. Ять пытался разузнать, кто она и что ей нужно, – но старуха только звала папочку, и он, не выдержав этого причитания, ударил по рычагам. Телефон тут же умер, через минуту Ять поднял трубку – связь исчезла бесповоротно. Этот случай он на следующий день рассказал Грэму, встретившись с ним в хлебной очереди.

– Это хорошо, – растирая нос и щеки голой красной рукой (никогда не имел перчаток), сказал Грэм. – В квартире ночью телефон – это хорошо. Знаете ли, что они обладают собственной волей?

– Конечно, – машинально сказал Ять.

– Не «конечно», а так и есть, – обиделся Грэм. – Человек, создав машину, – Ять узнал его излюбленный прием, – придал вещам разумное начало. Пример: дерево. Дерево живет собственной стихийной волей, тянется к солнцу и только и думает, как бы высосать больше соков из земли. Но приходит человек, придает ему благородный изгиб и делает кресло. Кресло – материя организованная, она мыслит. Ей уже не до соков, но она может совпадать с человеком, приняв форму его тела, и оттого перенимает его мысли. Возьмите теперь телефон: эта материя не в пример сложнее. Она может выбирать, когда ей прийти в движение и с кем вас соединить. Телефон своей волей соединил вас с безумной старухой.

– К сожалению, – сказал Ять, – я ничем не мог помочь ей.

– Об этом судить не вам, – Грэм поднял длинный извилистый палец. – Иной раз и человеческий голос целителен бывает для жизни. Я говорю это не потому, что одинок: вы писатель, как и я писатель, и я знаю, что вы подумали. «Вот, он одинок». Не так: есть существо. Но оно теперь, а было время, когда, действительно, и человеческий голос мог быть мне соломинкой. Возможно, что на Страшном суде уничтожатся все ваши заслуги и только этот ответ на ночной звонок зачтется. Кстати, – вдруг, без всякого перехода, заговорил он

буднично и просто. – Вы не знаете, как попасть в Елагинскую коммуну? Хочется, потому что туда обещали дрова и табаку. И чаю.

– А что, уже есть коммуна? – в недоумении пробормотал Ять. – Я думал, это прожекты, дело будущего...

– На Елагином, – с вечной шутливо-серьезной назидательностью объяснил Грэм, – делают новое объединение писателей для прокорма. Им хотят дать тему и бумаги много, чтобы они писали для детей, рабочих и детей рабочих. Все эти три категории суть одна, – он громко засмеялся. – Я могу писать для рабочих, могу делать сказки из чего угодно. Хочу пойти. Говорят, дрова, – повторил он.

– Однако как быстро это сделалось, – скорей себе, чем ему, сказал Ять. – Только появилась идея – и вот...

– Это сделалось быстро и будет недолговечно, – кивнул Грэм. – Они скоро поймут, что писателей нельзя селить вместе, особенно если кормить. Недостаток корма мог бы еще сплотить на первое время, но кормленные писатели рассорятся за неделю. А идея совместного писательства хуже, чем совокупление вшестером. Надо успеть, пока не перегрызлись и не разбежались, потому что тогда уже не будут давать дров.

Однако Ять и после этого медлил: страшно сказать, он трусил. Только утром семнадцатого января он решительно вышел из дома и направился в новое жилище членов Общества любителей словесности. День был холодный и серый, настроение отвратительное. Ять загадал про себя: кого первым встречу, тот и определит конечный успех или неуспех всей затеи. В Обществе преобладали люди приятные, так он втайне утешал себя, – но первый человек, встреченный им, был Казарин.

Поэт и критик Казарин в Обществе не состоял, раз только делал доклад о ритме у Державина. Откуда он тут взялся – было решительно непонятно: не стар, лет сорока или около, женат – правда, для чего он женился, Ять никогда не понимал. Супруга его, Ираида Васильевна (Василий Васильевич Розанов всегда обращался к ней «Иродиада», без всякого смысла, просто чтобы позлить), приходилась двоюродной сестрой московскому символисту, путанику и выдумщику, но в общем беззлобному малому. Он в пятнадцатом году ушел куда-то проповедовать, да так и пропал. Сама Ираида, как и брат, была высока ростом, басовита, и ее серые, навывкате глаза смотрели на собеседника прямо, с вызовом, точно в чем-то его обвиняя. Говорила она важно, загадочно и почти всегда неуместно. Рядом с ней худой, желчный Казарин выглядел особенно хрупким. Кажется, он никогда не любил ее. Теперь Казарин чистил снег у входа во дворец, неумело орудуя огромной деревянной лопатой. Рядом, прислонясь к колонне, посмеивался усатый матрос. Он и не думал помогать поэту: в его обязанности входила охрана да выдача продуктов. Казарин, впрочем, и не принял бы помощи.

– Здравствуйте, Вячеслав Андреевич, – приветствовал его Ять. – Вы как здесь? Казарин поднял глаза и поправил очки.

– А, Ять! – воскликнул он весело. – И вы к нам?

– Да нет, я вроде как на инспекцию.

– Что, на службу поступили?

– Какое, сроду не служил. Чистое любопытство.

– А что, переселяйтесь! – улыбнулся Казарин. – И безопасно, – он кивнул на матроса, – и паек, и святые стены. Нас пока сорок человек, но идут, знаете; идут! Идея подхвачена. Я сам тут четвертый день, вчера пришел ко мне друг физик – как бы, говорит, и нам такую богадельню? Нет, говорю, любезнейший, вы люди пользы, всю жизнь нас этим корили, – в вас всякая власть нуждается. Вот и ступайте строить электрические машины, а богадельни будут для сынов гармонии.

– Но ведь идея была селить филологов? – спросил Ять. – Тех, кто не нужен стал после реформы?

– Ну, кто же из нас не филолог? – засмеялся Казарин. – Все писали грамотно, кое-как правила помнили, а стало быть, от всех теперь никакого проку. Я как про это узнал, тут же к Чарнолускому побежал. Мы с ним, знаете, знакомы немножко – он, когда затевал «Вперед», направил письма к литераторам понезаметнее, таким, знаете, обиженным на невниманье критики: вас замалчивают, вы талант, мы издаем по-настоящему свободную газету... Ну, независимость-то их вся была мне очень понятна: эскековское издание, только с уклоном в Господа Бога. Стихов попросил. Я и послал ему – не из честолюбия, а чтобы поиздаться; что вы думаете – напечатал и благодарил! Я даже деньги какие-то получил. Загнулись на девятом номере. Но он меня запомнил – как же, как же, очень рады. Направил сюда немедленно. С таким наслаждением расписывается на этих ордерах – я на первой книжке так широко не расписывался! А мне, – продолжал Казарин, понижая голос почти до шепота, – комната сейчас совершенно необходима. Я с ума сходил с августа прошлого года, ища жилье. Нигде ничего нет, приличные комнаты страшно вздорожали, я совершенно без средств – книга у меня не вышла, вы знаете? Кому сейчас нужны книги... Вы газетчик, вам платят, а у меня ниоткуда ничего. И тут с неба падает такая возможность! Я подумал даже, что это все для меня и затеялось: ну, можно ли упускать?

– Вы с женой тут? – спросил Ять.

– Пожалуй, что и с женой, – лукаво отвечал Казарин, – можно сказать, что и с женой... Не с Иродиадой, конечно. С Саломеей скорее. Гибну, гибну! – продолжал он весело. – Совсем гибну. Мне все теперь можно.

Пожалуй, так, подумал Ять. Похоже, действительно гибнет и все себе разрешил. Чтобы пропадать с полной уже безоглядностью, он мог выпросить у народного комиссара ордер на проживание, который ему не полагался, предать, ограбить, а то и убить: не мешайте гибнуть!

– Судьба невероятная, – все тем же хриплым шепотом говорил Казарин. – Девочка, ведьма, ребенок, колдунья, все вместе. Не знаю, за что мне это. Вероятно, надо зачем-нибудь, чтобы я погиб, вот и подсластили финал. Мы сколько с вами не виделись, с октября? В октябре я, кажется, еще помнил себя... Но теперь всё. Когда рушится империя, странные происходят вещи. (Словно в подтверждение его слов, с ветки в парке тяжело снялась ворона и, каркая, пролетела в глубь острова.) Тут все как карточный домик – и сознание, и устои. А может быть, вся империя для того и рухнула, чтобы я оказался с ней. Я пишу теперь... О, как я теперь пишу! Теперь, когда это все никому не нужно. Как она пришла ко мне, почему я? Не понимаю. Никогда не думал, что молодежь вообще знает мои книги. Но она пришла, и читала меня наизусть, и когда я услышал эти стихи – ее голосом, с ее молодым дыханием... тогда я понял, что написал! И понял, что ничего еще не написал... Я только для нее теперь пишу. Не думаете же вы, что я должен был остаться дома, с Иродиадой? Но у нее родители, а в мебелирашки она не пойдет сама... Это Бог, Бог нам послал эту комнату. Или не Бог. Я боюсь думать, кто. Вы знаете, у нас, католиков, даже имя упоминать считается грехом. – Казарин принял католичество еще году в десятом и много писал об этом. – Не знаю, ничего не знаю. Но впервые за тридцать восемь лет чувствую, что живу.

– Рад за вас, – сказал Ять. – А кто еще тут из наших, я имею в виду – из Общества? Хмелев тут? Долгуцов, Фельдман?

– Все, все здесь, и молодежь есть. Барцев, Льговский... Кто совсем переехал, кто так приходит – столоваться, греться. Некоторые ночевать по домам уходят – скоро мест не хватит, и так уж по двое стали селить, – а сюда идут хоть строчку в тепле написать. Клуб, и только. Идемте к нам, я вам покажу, как тут все...

– Слушайте, я ведь некоторым боком причастен, – не удержался Ять и, терзаемый чувством вины, рассказал Казарину о своем невольном участии в создании филологической богадельни нового типа. – Ей-Богу, я не думал ни о какой коммуне. Это они так решили, и

я полагаю даже, что вариант не худший... Но как-то, знаете, страшно. Получается, что всё от меня.

– Да ничего не от вас, – махнул рукой Казарин и воткнул лопату в снег. – Все равно вечером снова навалит. Все бы хорошо тут, кабы не дежурства. Вы не думайте, идея коммуны не ваша, эдак вы и переворот себе припишете. Они давно начали собирать в такие дома – инвалидов отдельно, сифилитиков отдельно... Чем мы все не инвалиды? Нормальные люди такой двор за пять минут разгребут, а я второй час маюсь, одышка... Нет, с инвалидным домом – благое дело. Они у нас отняли последний хлеб, вот пусть и дают. Россию хотели спасти? Валяйте, начинайте с хранителей языка.

Он изобретательно оправдывал коммуну, поскольку сам был больше остальных заинтересован в ее существовании – она дала хлеб и кров ему и новой возлюбленной, – и Ятю должны были льстить эти оправдания. По крайней мере, можно было перестать терзаться. Он никому не повредил, составив свой список; Шельменко жив, и братья Шулаковы постыдно мной не ввержены в оковы... Но именно то, что вся эта история была на руку именно Казарину, раздражало Ятя особенно; вряд ли дело, выгодное Казарину, могло обернуться добром.

– А кто «она»? – спросил он небрежно, стыдясь собственного любопытства. Ять и сам не жаловался на отсутствие женского внимания, но Казарину доставались женщины, на которых нельзя было смотреть без тайного восхищения, отравленного завистью к недостойному счастливцу. Вероятно, этих особенных петербургских женщин одиннадцатого года, ледяных и пылких, привлекала казаринская способность всякий раз гибнуть и все-таки никогда не погибать, – способность по сути женская и женщинами ценимая.

– Она, она... – бормотал под нос Казарин, входя во дворец первым и обметая веником Бог весть где добытые валенки. – Она, луна, полна... дана... Вечно бормочешь какую-нибудь чушь, а в ней-то весь и смысл. А вы знаете, что мы тут живем без ключей? Истинная коммуна. Ключи от комнат есть только у коменданта, он же матрос. Но у нас и украсть нечего... Некоторые попытались соорудить засовы, а в общем – к чему засовы? Ну, идемте. Мы квартируем в первом этаже. Между прочим, вы очень кстати. Нынче у нас читка.

– Какая читка? – спросил Ять, осматриваясь. В высокие стрельчатые окна второго этажа лился серый мягкий снежный свет. Отчего-то именно в таком свете всегда рисовалось Ятю Средневековье. Муж уехал – в крестовый поход, положим; она ждет... Откуда бы во Франции настоящий снег? Но уход рыцаря в крестовый поход всегда представлялся ему в странных, здешних и вместе нездешних декорациях: в снегу, лежащем на еще зеленой траве. Серый, словно затканый паутиной зал; по стенам гобелены с охотой; в зале – она, словно уже погрузившаяся в трехлетний сон... Он знал, что подлинное Средневековье не имело с его видениями ничего общего; знал и то, что не он один творил себе такую легенду. Этими легендами, тайным знанием о них и пленил его с первой своей книги поэт, о котором он избегал теперь думать. Ходят тучи, да алеют зори, да летают журавли...

– Обыкновенная читка, – бормотал между тем Казарин, идя чуть впереди. – Нашли нам дело. Сочинять историю промышленности. Ловецкий – знаете Ловецкого? тоже, кстати, довольно иллюзорные права на звание филолога, – так вот, Ловецкий поклялся, что за три дня выработает себе слог, доступный пролетариату. Сегодня читает первую главу – историю чихачевской мануфактуры. Ему и рабочего придали, хорошего, сознательного рабочего – звать Викентием. Видели когда-нибудь живого Викентия? Ловецкий утверждает, что с его помощью будет делать настоящую пролетарскую литературу. Непременно останьтесь, послушайте, это стоит того. Чарнолуцкий лично обещал быть, и представители пролетариата.

По полу, выложенному черными ромбами (похожий пол, страшно убегающий как бы под откос, был на картине любимого художника Ятя, где грозный, с кошачьими усами Петр

бешено косился на затравленного сына), они прошли через просторную, матово освещенную залу в темный коридор. Казарину досталась угловая комната с окнами в заснеженный парк.

– Прошу, – и он торжественно распахнул дверь.

## 15

– Ну и вот, – сказал Казарин. – И ушел.

– Напомните, это было в тринадцатом? – переспросил Ять.

– В четырнадцатом. И ни слова больше от него. Представляете? Я всегда, впрочем, догадывался, – Казарин зажег очередную папиросу, и Ашхарумова посмотрела на него с нежным укором, – всегда знал, что Ираида и сама немного не в себе. А дядя ее, от которого Георгий-то Васильич, – вовсе проводил в желтом доме по полгода, в Швейцарию его возили, в Италию... Вот Георгий Васильич и сорвался – сразу. Так всегда и бывает: упала последняя капля – и конец. Получил он письмо без обратного адреса. И конверт, и листок уничтожил потом. Но как я успел понять, – у нас был перед самым его уходом путанный разговор, вы же знаете, как он объяснялся, – писал незнакомец. Просто следили за ним эти люди и вдруг решили: ты наш. Он еще Толстого упоминал, каким-то боком был ко всему этому причастен Толстой.

– Никогда его не любил, – признался Ять.

– Ну, он-то за них не ответчик...

– А по-моему, ответчик. – Ять не стал бы распространяться на эту тему, она была слишком сложна для светского разговора, и сам он не все себе уяснил, но Ашхарумова смотрела на него с любопытством, и он почти против воли распустил перед ней хвост. – Если вдуматься, из его учения только такую секту и можно было вывести. Он специально такое учение придумал, чтобы на него клевали одни убогие. С пристойными людьми ему нечего было делать – пошли бы споры, сомнения, неуважение к летам и гению... Если снять все покровы, все это смирение, мужиковство и упразднение судов, то и осталось бы одно беспредельное самоуважение, которое все время надо чем-то питать. Пока писал, оно само питалось. А как все написал, так и захотелось глину месить: вот, мол, каков я... Это все кашка для тех, кому себя уважать не за что. Он только упустил, что не все они графы. Некоторым и в самом деле прямой резон был попахать... (Он вспомнил Трифонова.)

– Ну, не знаю. – Казарин избегал поддерживать такие разговоры, хотя бы и в узком кругу. Тут требовались убеждения, а он высказывался лишь тогда, когда имел наготове неуязвимое, безупречно защищенное мнение. О Толстом такого мнения быть не могло: для глумления фигура была слишком крупна, для преклонения – смешна.

Ять слушал Казарина вполуха. Он только сейчас понял, сколь многого лишен в своей аскетически-замкнутой жизни, и настроение его резко ухудшилось.

Прелесть Ашхарумовой была неотразима, но открывалась не сразу. Это походило на постепенное узнавание: поначалу оставалась смутная надежда, что гармония ее облика чем-нибудь да нарушится. Ять все ждал, что обнаружит себя резкая черта, которая сразу развеет очарование и позволит не томиться по недостижимому. Однако чем дольше он сидел в хорошо протопленной, крошечной комнате Казарина (с единственной и довольно узкой постелью, предполагавшей тесное объятие), тем яснее понимал, что никакого облегчения ему не будет, что она именно то, что есть: образ цельный, выточенный из единого куска. Красота? Но красота – еще легкий, переносимый случай по сравнению с этим: бывают красавицы, в которых все разнородно, раздрызганно, и именно эта дробность облика позволяет надеяться, что так же раздергано их сознание. Эти легко прощают вину, забывают, уходят и возвращаются. Ашхарумова была иной породы: такая женщина уходит раз навсегда,

бежит из дому с первым встречным, если находит в нем свое (и находит безошибочно, никогда не обольщаясь ничтожествами); любит долго, терпит безропотно, прощает измены (не прощая лишь измены предназначению) – и остается с избранником до тех пор, покуда сам он не надломится. Около надломленного она не задержится и секунды – жалость ей незнакома; жалость оскорбила бы и его, и любовь. Такие женщины вечно устремлены вперед, как фигуры на корабельном бушприте, – и безошибочно чувствуют, какой корабль понесет их вперед быстрее всего. Это могло бы, на взгляд недоброжелателя, сойти за карьеризм – ненасытная жажда не просто любить, но любить победителя; но не было сомнения в том, что Ашхарумова с тем же пылом устремится и на гибель, лишь бы катастрофа соответствовала ее представлениям о совершенстве. Все это Ять понял почти сразу, но признаться себе боялся и потому постепенно убеждался в убийственной точности первоначальной догадки. У нее было крепкое, точно мраморное тело, на котором ни время, ни лишения, ни объятия не должны были оставлять следов: он представил всю ее сразу и ясно, с несомненностью опыта и вожделения. Рослая, тонкая, с длинными, сильными пальцами аккомпаниаторши, с круглыми черными глазами на худом лице (тут было все, что он любил, – вздернутый нос, высокие скулы), она была еще в том прелестном возрасте, когда в походке и жесте женщины сквозит подростковая скованность. Впрочем, во многих двадцатилетних женщинах тех времен Ять замечал эту намеренную угловатость, как бы в пикку торжествующему маньеризму эпохи упадка.

Что поделывать: если Ашхарумова была теперь с Казариным, стало быть, и Казарин был фигура незаурядная. Во всей его непоследовательности, в привычном аморализме была все та же цельность, чистота порядка, – та «стильность» (трижды проклятое словечко тринадцатого года), которую женщины вроде Ашхарумовой ценили превыше всего.

Ять сидел у них уже два часа, на четыре назначили читку. Казарин, казалось, и сам не хотел отпускать его: разумеется, лучшее общество для него было теперь общество возлюбленной, но, позер до кончиков ногтей, он не мог испытывать истинное счастье без свидетелей, и самая зависть Ятя, которой он не мог скрыть, была для него бальзамом. Он сейчас даже любил Ятя – за то, что тот дает ему возможность показаться в блеске торжества. Разговаривали не без взаимного интереса; Ашхарумова вставляла замечания редко, не заботясь о производимом впечатлении – или не сомневаясь в нем.

– А я ведь вас знаю, – сказала она, и Ять смутился.

– Не припомню...

– Нет, не лично. Мне Таня Поленова рассказывала.

Черт, все они были знакомы, все в заговоре. Ять давно подозревал это. А Фельдман еще спрашивал, отчего он такой «метафизический женоненавистник» – вроде метафизического антисемита Розанова, ненавидящего евреев в теории и льнущего к ним на практике.

– Вряд ли она вам говорила обо мне что-нибудь хорошее.

– Почему? Она вообще мало о вас говорила, потому что, по-моему, вы были для нее очень важны. И теперь важны. Правда, я давно с ней не виделась...

– Я тоже.

– А знаете, где она теперь? В Крыму. Говорят, там безопасно. Она отдыхала в августе у друзей или дальней родни – и не захотела возвращаться. Прислала одно письмо, звала туда. Пишет, что виноград и рыба и до ноября купанье, – я ей ответила, чтобы она сюда не торопилась.

– А матушка ее где же?

– Матушка как была в Париже, так, думаю, и осталась. Новый супруг пока не разошелся, что ж ей беспокоиться.

– Виноград, купанье, – протянул Ять. – Ну, теперь-то ничего этого нет... Где она, вы говорите?

– Близ Ялты, в Гурзуфе.

Ятя во всей этой истории больше всего интересовало, одна ли там Таня Поленова, – но, поскольку Таня нигде не бывала одна, вопрос отпадал сам собою. Он хотел перевести разговор, ибо не был уверен, что удержится от резкости, которая сразу его выдаст.

– Не знаю, не знаю, – сказал он. – Я Крым люблю, но сейчас Питера не променял бы ни на что. Призвали всеблагие. Вячеслав Андреич, вы-то что теперь пишете?

Казарин, не заставив долго себя просить, прочитал два новых стихотворения – действительно мало похожих на прежние: одно длинное, белым стихом, о встрече со странным ребенком, который стоял на улице и укоризненно смотрел на него в упор, – а второе короткое, о первом снеге. Слово «легкость» повторялось в нем часто, как в заклинании, – и в самом стихотворении было что-то гипнотическое, чтобы не сказать кокаиновое. Ять хорошо знал, что частые упоминания ледяных сфер, белых кристаллов, горечи и ясности означают именно пристрастие к кокаину; кто-то – чуть ли не Буркин, считавший своим долгом попробовать все, – говорил ему, что после кокаина легко понять, что чувствует душа, вылетев из тела. Полная ясность, ледяной покой, – и почти нестерпимая гармония в каждой линии.

– А ребенка видел действительно, – сразу заговорил Казарин. – Ребенок был, стоял на углу Большого и смотрел пристально, с осуждением. Впрочем, мне теперь во всех взглядах мерещится осуждение. Мальчик лет восьми – откуда ему знать про меня? Но хотя бы меня осудили все, даже дети, – я от своей жизни ни для кого не отрекусь.

То, что Казарин при Ашхарумовой так свободно заговаривал о бывшей жене и ее родне, о прежней жизни и об отсутствии у него всякого раскаяния, доказывало: между ними нет ни тайн, ни умолчаний.

– Ну, а о коммуне как вы думаете? – спросил Ять наконец, боясь услышать что-нибудь едкое, ядовитое и совершенно верное.

– Да как же, – Казарин развел руками. – Сколько продержимся, столько и ладно. С паршивой овцы хоть шерсти клок.

– Вы про Чарнолуского? В смысле овцы?

– Про них про всех. Тут ведь два варианта, вы сами понимаете, – Казарин доверительно наклонился к Ятю, но не забывал поглядывать и на Ашхарумову. – Либо они продержатся еще два месяца, пока хватит продовольствия, и их опрокинет село или сами эти... пролетарии сделают голодный бунт. В общем, гибель от естественных причин. И второй вариант: они поймут, что долго миндальничать нельзя, забудут про всякую свободу и устроят нам тут железный кулак. Тогда, сами понимаете, начнется с нас – вступаться некому, толку от интеллигенции никакого, а без террора, это *sine qua non*, они не удержатся. Они ведь как устроены: их можно выбрать только от безысходности. Надо, чтобы все были еще хуже. Отсюда эрго: постоянно нужен враг. Это, по-моему, очень видно, а других возможностей, как ни приглядываюсь, не различаю. Доживем два месяца в условиях наименьшего зла, а там и до свидания в лучшем мире.

Вместе с тем что-то подсказывало Ятю, что при всей логике Казарина, отказавшегося от иллюзий, как раз в этих его словах таилась ложь: людям отчаявшимся, устремленным навстречу гибели, гибель как раз грозила меньше, чем прочим, домашним и робким. В его безупречных, на первый взгляд, рассуждениях была обманчивая, соблазнительная простота – в действительности все, как всегда, было тысячекратно сложнее и зависело от множества условий. Ошибкой было сводить все к воцарению татарских нравов – это значило игнорировать здоровую и свежую силу, которая иногда угадывалась даже за простотой матросиков и их вождей-агитаторов; не все были темные, и Ять знал это. Кроме того, апокалипсические пророчества (которые Ять слышал от Казарина во все время знакомства) никак не гармонировали с его заботой об устройстве, выживании, репутации и деньгах, которые он добывал иногда откровенным шарлатанством.

– Вы все и всех норовите похоронить, – сказал Ять, – а между тем многое и от нас зависит. В частности, их перерождение в ханов...

– Хамы в ханов, это вы хорошо, – усмехнулся Казарин, приглашая усмехнуться и подругу.

– Не в каламбурах дело. – Ять не мог уже скрыть раздражения; особенно его бесили эти их постоянные перемигивания, выглядевшие ужасно высокомерно. – Вы все еще живете по принципу «чем хуже, тем лучше», – но худшее уже случилось, даже и в стихах ваших сквозит теперь реальность почти загробная. Что же не попробовать все заново?

– Да пробуют, – Казарин пожал плечами. – Раньше одного забирали – и демонстрации, и в прессе переполох, а теперь десятками берут – и ничего, в порядке вещей.

– Не только же в этом суть! – Ять поморщился, поняв бесперспективность спора. – Я к тому, что гибнуть и гибнуть – это прекрасно, конечно, но это остается вашим выбором. А стране надо когда-нибудь и пожить.

– Пожить – да, но как, какой ценой? Вы, Ять, человек девятнадцатого века, – снисходительно сказал Казарин. – Хороший был век, но кончился. Затонул. После краха Европы настало другое время. Если бы не техника, проскрипели бы еще лет пятьдесят, но телефоны и автомобили ускорили дело. Какое пожить, когда целые нации с песнями идут на убой? Заметьте, что эта бойня ничем не разрешилась, не очистила воздуха, – умирающему кровопускания не впрок. Убивать шли от безвыходности, и сейчас та же безвыходность. Вам все уют подавай, семью, цель жизни... а цель сейчас одна – перед смертью не опозориться. Вот скажите, – он подмигнул Ашхарумовой, – мы тут с Марьей давеча обсуждали животрепещущий вопрос. По нему легко отличать своих от чужих. Вы-то свой, чего бы ни говорили, только никак не проснетесь. Скажите, кто лучший христианин – Уайльд или Мастертон?

Мастертон был миссионер, публицист и проповедник, автор нескольких комических романов из жизни доброго британского семейства. Юмор его был натужен, многословен, но трогательная сентиментальность, сквозившая в пряничных писаниях, искупала многое. Он умер через год после Уайльда, ненадолго вернувшись в Лондон из Южной Африки. Ять одно время для хлеба насущного переводил два его романа для «Современного мира», и работу эту ему спроворил как раз Казарин.

– Славный вопрос, – задумчиво произнес Ять. – По логике вещей, я должен сказать: Мастертон. Да, вероятно, так и скажу – из чувства противоречия.

– Вот видишь! – Казарин победоносно глянул на Ашхарумову. – Он весь в прошлом веке, когда уже выйдет оттуда?!

Ять терпеть не мог, когда о нем говорили в третьем лице.

– Идти в ногу с таким веком – невелика заслуга.

– Этот век, хорош он или плох, открыл новое в человеке, – снисходительно сказала Ашхарумова. – Мастертон от этого нового прятался в уют, в простоту, потому что убоился сложности. А трусость никогда еще не была христианской добродетелью.

Эти слова она явно повторяла с чужого голоса, и нетрудно было понять, с чьего.

– Вот, вот, – против воли горячась, заговорил Ять. – Мастертон всю жизнь боролся против того, чтобы христианство перестало отождествляться с мятежом и уничтожением. Самый отважный мятежник, писал он, сегодня тот, кто посмеет защитить простую истину...

– Сказать можно что угодно, – улыбнулся Казарин. – Не всяк Бога славит, но Бог себя явит. Мастертон умер в своей постели, а Уайльд – от последствий удара в ухо, нанесенного тюремным надзирателем. Мастертон прожил шестьдесят с лишним, а Уайльд не дожил до сорока пяти. Мастертон умирал в достатке и почете, а Уайльд – в нищете и поношении. Какую кончину вы назовете христианской?

– Критерием христианской кончины никогда не были нищета и поношение, – лихорадочно заговорил Ять. – Уайльд умер от водянки, вызванной излишествами, а Мастертон – от

последствий тропической лихорадки, подхваченной, когда он лечил дикарей... Уайльд умер прославленным, хоть и скандально прославленным, а Мастертон – презираемым и осмеиваемым, героем карикатур в модных журналах, где его изображали в виде индюка, проповедующего на скотном дворе. Все христианство Уайльда, все его любование красотой страдания были от его уранизма, и распятый Христос вызывал у него, страшно сказать, чуть ли не похоть... Уайльд привнес перверсию во все, пусть и невинную перверсию...

– Он не понимает, – улыбнулся Казарин Ашхарумовой, и она кивнула в ответ. – Не дай Бог, поймет – ведь с ума сойдет. Ничего, Ять, я вас постарше на три года, все у вас впереди. Впрочем, Марья вас помладше лет на... В отцы сгодились бы, если бы поторопились. Но и она понимает – потому что умная. Не обижайтесь, не обижайтесь. Мы вас все равно любим.

Ять непременно взорвался бы и в ответ на это «мы», и на уверение, что девятнадцатилетняя Марья (отвратительное обращение, какое-то домашнее и вместе вульгарное) умнее его, если бы по коридору вдруг не раскатился звон колокольчика и высокий, смеющийся голос Ловецкого не пропел:

– Прошу-у, прошу-у! Все к месту сбо-о-ора! Чтение первой главы-ы-ы!

## 16

На читку, долженствовавшую обозначить начало созидательной работы интеллигенции на благо пролетариата, прибыл и Чарнолуцкий, и пролетарий Викентий, приданный Ловецкому для консультаций по истории чихачевской мануфактуры. Чарнолуцкого изумила истинно журналистская скорость, с которой Ловецкий сработал первую главу, но он утешался мыслью о том, что ведь и величайшая революция в истории человечества произошла за два часа. Теперь все получалось прямо-таки триумфально, и стремительность разрешения всех задач была главным доказательством их насущности. В зале на первом этаже матросы-охранники вместе с первыми собравшимися коммунарами разбирали т-образный стол и рядами расставляли стулья. Ять здоровался с обитателями дворца – все были ему рады. Здесь, в хорошо протопленном и ярко освещенном помещении (каждый пришел со своей лампой, и в зале было светло, почти как в бальные вечера), среди давно знакомых людей, думавших и говоривших на его языке, он устыдился собственных дурных предчувствий. Родная среда была прежней, умудрявшейся во всяком положении найти смешную и трогательную сторону.

– Ну что вы, Ять, как? – любовно улыбаясь всем морщинистым, милым лицом, спрашивал его Алексеев. Его русофильство никогда не мешало Ятю любить в нем честного, славного человека, который в горячую минуту мог так приложить родную Русь, как никогда не отважился бы и самый желчный иудей. – Мироходов-то, старый болван, не разогнал еще вашу лавочку?

– Ять! – закричал с лестницы Борисов. – И вы теперь с нами?

– Нет, я в гости пока. Ну что, как вам этот симпозион?

– Отличная идея, всегда о чем-то подобном мечтал. Поспорим, бывало, за ужином, – Борисов дружески кивнул Алексееву, – и пишу потом чуть не всю ночь с огромным воодушевлением! Нашему брату филологу трудней, чем технику: техник творит один, сидит, придумывает... А мы высекаем искру только из обмена мнениями, правду я говорю?

– Когда ерунды не говорите, вас и послушать приятно, – кивнул Алексеев. – Только чуши больно много, я бы вам иногда звук выключал. В патефоне, знаете, есть такой рычажок, – он себе играет, а нам не слышно.

Ять узнал среди обитателей дворца и молодого, но уже прогремевшего Льговского – не будучи членом Общества, он впервые выступил там два года назад с оригинальной работой

о статистическом методе в стиховедении; работа была странная – сама теория без божества, без вдохновенья, но в том, как он читал иллюстрирующие ее стихи, как: спорил и соглашался, артистизм так и сверкал. Льговский, как всегда, был со свитой из молодежи. Чернолуский запаздывал. Лишь в половине пятого зарокотал, приблизился и увяз автомобиль – и скоро из мягкого снегопада, отряхиваясь, вошел главный гость. Рабочий Викентий с двумя товарищами – такими же кроткими, вислоусыми и бледными мужчинами лет сорока пяти – при его появлении встали. Чернолуский оглядел собрание и сделал общий поклон.

– Рад приветствовать, господа, – сказал он, изо всех сил стараясь не впасть ни в заискивание, ни в снисходительность. – Простите великодушно, задержался. Ну-с, вы, я вижу, уже приступили?

– Как же без вас, – проскрежетал из угла Хмелев.

– Главный критик не я, – улыбнулся комиссар. – Главные критики – вот, если позволите! – И он торжественно ткнул пальцем, в товарища Викентия со спутниками. Викентий смутился еще более.

– Так я приступаю, если все в сборе? – ни к кому в особенности не обращаясь, спросил Ловецкий.

Он выкрутил посильнее фитилек стоявшей перед ним на столе керосиновой лампы, поднес к близоруким глазам крупно исписанную тетрадь и звучно провозгласил:

– «История петроградской промышленности. Том первый. Чихачевская мануфактура. Глава первая. Чихачевский род. Братья-разбойники. Роковая Маланья. Кровавое царствование. Логово хищника. Отравленная лилия». – Он обвел собрание взглядом и в более будничной манере пояснил: – В заголовке каждой главы я даю конспект – прием известный.

Ять решительно ничего не знал о чихачевской мануфактуре, кроме того, что прославилась она тончайшим постельным бельем, на котором – как и на гербе ее – красовалась лилия. С первых строк «Истории петроградской промышленности» стало ясно, что скандал неизбежен. Трудно было понять, сознательно Ловецкий доводит до абсурда идею производственной хроники или искренне пытается сделать ее увлекательной для пролетариата, однако получившийся продукт с самого начала выходил за рамки добра и зла. Это была причудливая смесь всех стилей площадной литературы, от милорда глупого до житий. Начиналось эпически – с описания дальней деревни Лыткарино, затерянной среди лесов темных да лугов тучных; народ в Лыткарине был сметлив, да буен, текст – по-лесковски узорчат и олеографически цветист. Лыткаринский уроженец Митька Чихачев устроился в Питер на ткацкую мануфактуру, тогда еще, понятное дело, не чихачевскую, рос, умнел и скоро обольстил хозяйку (сцена обольщения выдержана была в архаически-сказовой манере, поскольку возвышение Чихачева-старшего относилось к пятидесятым годам). Но в шестидесятых дело Митрия Чихачева едва не рухнуло, ибо чуть не переубивали друг друга его сыновья. Предметом раздора стала ткачиха Маланья, чьи огневые очи и соболиные брови Ловецкий описывал уже в стилистике гоголевской – сниженной сообразно с умственным горизонтом предполагаемого читателя. Она успешно довела до белой горячки старшего брата и теперь вместе с младшим строила на его костях свое счастье.

В рукописи было несколько фраз о расширении производства, о знаменитых чихачевских простынях и платьях, но с этой темой Ловецкий торопился скорее разделаться, дабы не утомлять читателя, и с облегчением плюхался в родную стихию инцестов, измен и шантажа; Эти сцены были уже писаны широким, развязным слогом бульварного листка; Ловецкий читал их залихватски-бодро, подмигивая аудитории, гнусно ухмыляясь и иногда вдруг виляя всем телом, словно в избытке чувств. В публике уже пересмеивались. Безоговорочно серьезен был один народный комиссар, который до последнего момента надеялся, что диалектика производительных сил и производственных отношений вот-вот прорвется наконец

на страницы романа сквозь сомкнутый строй роковых маланий и полнокровных, brutальных промышленников – типов истинно-русских и выписанных не без любования.

– И, яро ухнув... – басил Ловецкий, даже, кажется, слегка окая. Речь шла о богатыре Григории Чихачеве, высасывавшем на пари корец водки. Масштаб производства и прибыли странным образом воплотился у автора в чисто физическом масштабе самой фигуры капиталиста; промелькнула фраза о том, что все это был не квас, не водка, не уха, а кровь народная, но и кровь народную Григорий Чихачев уписывал так аппетитно, что волей-неволей хотелось к нему присоединиться.

В конце концов Чарнолуцкий дождался пролетарского элемента. Сознательный рабочий Валежников приходил к марксизму, желая отомстить за поруганную ткачиху, которую полюбил. Заседание рабочего кружка, описанное в смешанной технике Достоевского и Тетерникова, имело отчетливо inferнальный вид. Однако неутомимый в похоти Андрей Чихачев, представитель третьего и самого растленного поколения мануфактурщиков, соблазнил красавицу Дарью (в описании ее Ять с веселым ужасом узнал Ашхарумову: Ловецкий, апеллирует к архаическому народному сознанию, сам впал в детство литературы – что видел, то и воспевал). Тут в повествовании возник отчетливо мистический, декадентский элемент. После серии кутежей и оргий Дарья внезапно взбунтовалась, Чихачев в приступе пьяного гнева запер ее в своем кабинете, а сам уехал пить; из кабинета она таинственным образом исчезла, и больше ее никто никогда не видел. Повествование было доведено до третьего года, с которого, как оповестил Ловецкий под конец уже своим голосом, начинался новый, пролетарский этап российской истории.

– Разумеется, будут и цифры, – как бы заранее оправдываясь, среди наступившего молчания проговорил размякший и вспотевший автор. – Цифры вынесены будут в специальное приложение – таблицы роста производства и все это, э... тут, я полагаю, возможна будет уже консультация экономистов, когда создастся соответствующая коммуна.

– А математиков, значит, тоже соберут? – поинтересовался кто-то из свиты Льговского.

– Полагаю, это неизбежно, – сдержанно заметил Комаров. Ять знал его как лучшего петербургского словесника, неременного секретаря на большинстве заседаний Общества. – Реформа правил сложения, исправление логарифмических таблиц, упразднение тригонометрии как недоступной народу...

– Не скажите, – очень серьезно сказал высокий и очень рыжий молодой человек. – Без тригонометрии невозможно даже и на строительстве

Обсуждение явно уходило не в то русло. Хмелев наблюдал за происходящим с мрачным удовлетворением. Ять не знал, смеяться ему или ужасаться: Ловецкий, конечно, повеселил всех, но ведь от готовности коммунаров идти на сотрудничество зависели в конечном итоге и дрова, и пресловутая моржеватина. Хорошо было издеваться над Чарнолуским, пользуясь его благодеяниями, и фрондировать в полной уверенности, что никого не посмеют тронуть, – но если начнется настоящее обучение ремеслам или, не приведи Господь, расчистка рельсов (к которой, по слухам, большевики в Павловске привлекли монахов), о ненаписанной «Истории заводов» придется горько пожалеть. Впрочем, Ять до конца не был уверен в том, что Ловецкий издевается. Возможно, поразмышляв, он естественным путем пришел к тому, что писать для народа в эпоху величайшего смешения стилей и языков только так и возможно – в конце концов, и серьезная литература давно уже была воплощением эклектики.

– Ну что ж, – невинно начал Чарнолуцкий. – Спросим-ка товарищей чихачевцев: что нам ответят, так сказать, непосредственные адресаты? Как вам, товарищ Викентий, – вы стали бы читать такую книгу? Викентий встал и помялся.

– Что сказать, товарищ комиссар, – произнес он смущенно, – жеребятины много, но для ребят завлекательно. Маловато, конечно, про станок. Ведь станок – он опять же, как

ни крути, основа ткацкого дела. Но ежели он и на фабрике, положим, круглый день видит станок, то что ж ему про него еще и в книжке читать. Ему в книжке желательно про всякое... про жизнь чужую, одним словом говоря. Так что я считаю, сработал товарищ на совесть, в интересах класса... раньше образованный класс про всякую любовь читал, а теперь такого нет... теперь для всех...

Спутники Викентия на протяжении этой речи переглядывались и не слишком уверенно кивали.

– Итак, – бодро сказал Чарнолуский и потер ручки, – вы сами убедились, что товарищ Ловецкий, – прошу прощения, господин Ловецкий, – блистательно справился с предложенной задачей. Его упражнение в этом жанре можно считать, я бы сказал, эталонным для всех литераторов, которым в разное время еще придется, – а я не сомневаюсь, что придется, потому что куда же они денутся, – заниматься чем-нибудь подобным. Вы только несколько переоценили меня, полагая, что перед вами законченный идиот. Но я пока еще не вполне соответствую этому званию. Мне представлялось, признаюсь вам честно, что самоуважение ваше и без того вполне достаточно, то есть вам, чтобы себя ценить, не надо лишней раз делать дурака из расположенного к вам человека. Вероятно, я заблуждался и тем еще раз доказал вашу проницательность. Я особенно благодарен товарищу Викентию. Господин... как же вас... господин Ловецкий (эта заминка была просто великолепна, Ять мысленно аплодировал комиссару), вы точно угадали чаяния пролетариата, но еще точнее выразили собственные чаяния. А сводятся они, как и можно было догадываться, к тому, чтобы пролетариат навсегда оставался в нынешнем своем состоянии, когда пределом его эстетических вкусов остаются кинодрама «Отравленный поцалуй» и похождения барона Прохвостова, в пяти частях с иллюстрациями. Горячо благодарю за высокое наслаждение. Не вполне ясно, правда, чем именно вам не угодил товарищ Викентий, на котором вы так... поупражнялись. Но он, как истинный христианин – виноват, я хотел сказать марксист, – простит вашу невинную шутку.

Если бы после этого комиссар оделся и вышел, более эффектного финала читки нельзя было бы и придумать; вся Елагинская коммуна осталась бы в твердой уверенности, что на завтра всех разгонят, а некоторых, чего доброго, еще и возьмут. Ять никогда еще не видел Чарнолуского ехидным, – ехидство прибавляло ему ума и обаяния. Но он не ушел. Он по обыкновению уставился в пол, хомяковато надув щеки, после чего шумно выдохнул и расхохотался.

– Да, господа, – произнес он дружелюбно, – хороший урок мы дали друг другу. Я, конечно, сам виноват. Меа culpa. Не следовало и ставить перед вами подобной задачи. Я все забываю, что ежели литератора нашего времени, кроме разве «знаньевского» круга, попросить пересказать «Колобка», так у них и «Колобок» выйдет альковный, в адском колорите, а у лисы будет лицо Милюкова. Виноват. Бессмысленны общественные заказы, когда нет заказа личного. И потому я думаю, – тут он выдержал эффектную паузу, – я думаю, что лучшим делом для вас будет коллегиальный отбор классической литературы для народного чтения. Этим и Лев Толстой не брезговал, вы ведь не станете отрицать, что «Посредник» многих просветил? Я и шел сюда с мыслью предложить вам это. Пролетарская культура не создается директивами, ее можно лишь бережно, тщательно вырастить, используя лучшие достижения прошлого. Вот таким книгоизданием мы в ближайшее время и займемся. Полагаю, перспектива подобного отбора не вызывает у вас возражений?

Не сказать, чтобы это выступление сломало лед, но конфронтацию несколько ослабило. Чарнолуского уговаривали остаться на чаепитие, и он в самом деле отведал чаю и каши (на сей раз гречневой). Он торжественно обещал улучшить пищевой рацион, еще раз попросил прощения за попытку диктовать Музам и направился к выходу. Вскоре откланялся и Ять. На душе у него было смутно. Одно он знал точно: в этой истории Чарнолуский был

единственным, кого он жалел по-настоящему. Впрочем, жалко ему было и Викентия, который весь вечер хмурился. Но еще грустнее было думать об идее хорошего издательства всемирной литературы. Идея была в самом деле великолепна – полной своей несвоевременностью, абсолютной неуместностью и совершенной неосуществимостью.

– Знаете, – сказала вдруг Ашхарумова, подавая ему руку на прощание, – вы обязательно должны завтра пойти с нами на именины к Зайке.

– В лес? – усмехнулся Ять.

– Зайка – это Зойка, подружка моя. Она чудесная девочка, правда. Вам очень понравится.

– Спасибо, Маша. Я, верно, и впрямь так выгляжу, что сразу хочется подобрать мне чудесную девочку для домашнего хозяйства... Не беспокойтесь, я справляюсь пока.

– Я вовсе не за этим, – смутилась Ашхарумова. – Что вы глупости выдумываете... Просто – будут молодые поэты, будем мы со Славой... Приходите, правда. Рождества почти не заметили, Нового года толком никто не праздновал – вот и устроим всё сразу...

Он, конечно, никуда не собирался. Вот новое ампула – соглядатай чужого счастья! Но в пустой квартире навалилась вдруг такая тоска, что, засыпая, он решил: пойду.

## 17

...но поскольку размах веток не позволял говорить о мгновенной деривации, то и вывод отсюда был тот, что мы никуда не уйдем, если, конечно, попробовать хлюмсы... он расхохотался, и она в ответ. Так, смеясь, и проснулся. Обрывки фраз еще ветвились в голове и, как всегда после яркого сна, казались исполнены глубокого смысла, но земная логика брала свое и вытесняла небесную.

Постой, постой, но, значит, все было? Да, и глупо теперь от этого прятаться. Таня была, он любил ее и знал, что всегда будет любить. Внешне все кончилось два года назад, грязно и стыдно, а все-таки до конца дней он был на нее обречен и знал, что это обоюдное, с кем бы рядом она ни просыпалась. С кем она сейчас, интересно? Последний слух был о бородачине, угрюмом неудачнике – впрочем, на беспристрастный взгляд мы все неудачники. Если действительно угрюм, то это у них ненадолго: она бы терпела, да он не вытерпит рядом с собой этого вечного праздника. Первое время после разрыва Ять бесился: ведь вот, мне она не прощала ничего, а другим наверняка сходило с рук что угодно. Но потом понял, что именно эта способность вытерпеть все от других и была знаком окончательного к ним безразличия.

Встретятся они еще или нет, Бог весть, но ведь бывают любовные истории, которые и без встреч длятся годами. Только во сне прежнее достигало, хотя все реже, – но и одной такой ночи было достаточно, чтобы из пыльной комнаты, в которую превратился теперь его мир, выглянуть в сияющее окно и понять, что за ним все по-прежнему. Даже отчаяние, связанное с ней, было волшебным-раскрашено.

Ведь откуда, собственно, наше желание слиться с красотой? Я разумею сейчас примитивное соитие, для которого не зря приспособлено слово «обладать». Опустим телесную грубость, так называемый зов плоти, неотступно тревожащий разве что гимназиста. Стремление соединиться с ней было того же корня, что детское желание положить на музыку любимые стихи, разыграть по ролям диалог из читаемой на ночь книги, – присоединиться, присесть к краю к чужому триумфу. Вероятно, она не была красива в общепринятом смысле, и есть ли общепринятый смысл? Но на ней лежал отсвет, быть может, даже для нее незаметный, – который делал каждое ее слово, каждый поворот головы доказательством иной жизни, и желанием проникнуть в эту жизнь, прилепиться к ней и была на самом деле жажда обнимать, гладить, сливаться.

И всякий раз, как его одолевало сомнение в ее подлинности, он вспоминал ее манеру слушать – склонив голову, щурясь, – или привычку хмуриться, когда при ней заговаривали о деньгах, или позу во сне – всегда на животе, правая нога согнута в колене, руки обнимают подушку; или выгиб ступни, белой, тонкой, почти детской. Чем интимнее, голее, запретнее было воспоминание о ней, тем отчетливее в нем сквозила неразрывность ее души и оболочки: как мог бы он представить, что эту душу влили в иной сосуд? Если есть будущая жизнь и мы удостоимся в ней зримого воплощения, яснее выражающего нашу заветную суть, – все воскреснут другими, потому что у каждого в земном образе был зазор меж замыслом и результатом, а Таня будет все та же, потому что полнее воплотиться нельзя.

Моветон, о да, в ней действительно был, но он так же не резал глаз, как никого не смущает избыточное здоровье. У нее всегда можно было узнать последнюю новость о последней знаменитости. И все это не жажда признания и не погоня за новизной, а все та же ненасытимая жадность. Она всегда зябла. Может быть, попросту его собственный огонь был слаб, чтобы обогреть хрупкое, зябкое... но хрупкость обманчива. Она никогда ничем не болела, знать не знала, что такое хандра, и, может быть, впечатление дурновкусия возникало лишь потому, что существу столь полнокровному и жадному не пристала обманчивая бледность, что декадентские игры со смертью никак не сочетались с ее неутолимым, жадным весельем. Но почему бы жизни не поиграть со смертью, кошке – с мышью? Когда он был с ней, смерть казалась нормальным условием контракта: если бывает такая полнота счастья – почему бы, в конце концов, и не умереть когда-нибудь?

Ять знал, отчего именно теперь так ясно вспомнил Таню Поленову. Всему виной был вчерашний визит к Казарину, знакомство с Машей Ашхарумовой и боль, пробужденная им. Казарину-то пришлось хуже: если Ять к своей идее отказа пришел после, пережив всю полноту счастья и несчастья, – Казарин отказался заранее, из врожденного страха, и потому все его аккуратные, гладкие, совершенно как надо сделанные стихи всегда что-то обещали и опять обманывали. При всей его корректности и подчеркнутой холодности манер натура его была страстная, даже порочная, – отсюда же неизлечимое картежничество, способность играть несколько ночей кряду, иногда со значительными выигрышами, которые он тратил загадочно. Говорили, что были эксперименты с морфием – алкоголь не брал его совершенно, да и не то было у него самолюбие, чтобы экспериментировать с алкоголем, доступным всякому подмастерью. Тайная тяга за пределы, к угадываемой подлинности, жгла его изнутри и не находила выхода, и перейти последнюю грань он всякий раз страшился – потому, быть может, что знал за собой способность к безоглядному саморазрушению. Решившись раз, он погиб бы весь – и потому в стихах останавливался за шаг до единственно точного слова, а в собраниях предпочитал маску знающего, но не говорящего. Теперь панцирь его давал одну трещину за другой, и слова «Я совсем, совсем иначе теперь пишу!» обещали многое. И странное дело – Ять почти завидовал ему.

Однако пора было выбираться из-под груды наваленных на постели пальто, заново растапливать печь, приводить себя в порядок, отправляться к Мироходову и посещать Сенной, чтобы не являться в гости с пустыми руками. Ять давно уже спал одетым, снимая только носки – ноги не отдыхают, если спать в носках. Белья он тоже не стелил уже месяца два – какое белье, когда не разденешься. Печка выстыла, он выгреб золу и приступил к растопке. Дров положил немного: тепло требовалось часа на два, чтобы успеть дописать «Листки» – еженедельную рубрику, которую он вел у Мироходов на вольную тему. В последнее время все писали на вольную тему, потому что разобраться в реальности не было уже никакой возможности.

Он поднес зеленоватое пламя спички к кому старых газет – благо этого добра было всегда в избытке, – минут пять посидел у печки, глядя, как разгорается, протянув к ней ладони, потом встал и направился к столу. Бумаги у него хватало, самой отборной – Мироходов в

прошлый раз подарил прекрасную пачку. Идея появилась у Ятя давно, но оформилась утром, и это было как-то связано со сном. «Памяти Гаршина», – написал он сверху и подчеркнул по обыкновению волнистой чертой. Попробовал ради шутки написать первую фразу по-новому, без ятей и еров: возникало досадное чувство незаконченности и почему-то бедности. Слово без ятя слепло, утрачивало нюанс, а без ера в конце глядело странно незащищенным, будто твердый знак в конце ограждал его от белого бумажного холода. Он усмехнулся и принялся писать, как привык.

## 18

«Обыкновенно, собираясь говорить о ком-либо из покойных наших писателей, мы ищем юбилейного повода. Считается, что обязанность журналиста – извещать читателя о новостях. Но признаемся себе, что никаких новостей давно нет – или что они вышли из сферы нашего понимания, – а потому поговорим об одном из рано погибших литераторов, которого современники считали сумасшедшим, а потомки то называли гением, то прочно забывали. Впрочем, если нужен юбилейный повод, то у Гаршина и точно юбилей: через два месяца исполнится ровно тридцать лет с того дня, как он в бреду прыгнул в лестничный пролет.

Но заговорить о нем мы решились не из-за грустного юбилея (до которого, Бог весть, доживем ли еще). Нам вспомнилась одна из его сказок, из описанных им смертей – «Attalea Principis», произведение, прославившее его после смерти, но при жизни вызвавшее даже некоторое затруднение при публикации. Недовольство выказала цензура – но не государственная, а либеральная, в основе своей много страшнейшая, ибо действует не от лица государства, а от имени самого Абсолюта. Крупный сатирик, от которого не ускользнуло, кажется, ничто в нашем прошлом и будущем, не желал помещать в своем журнале произведение столь пессимистическое, – пусть, мол, ваша пальма прошибет теплицу и увидит за ее пределами солнце... пусть замерзнет, пусть хотя бы и умрет, но хоть на миг вздохнет всюю кроною! Однако тут уж мягкий и уступчивый Гаршин решительно отказался от переделок. Слава Богу! Чего доброго, вместо истинно поэтического творения на свет явилась бы еще одна грубая аллегория, какими наводнялась наша печать и в гаршинские, и особенно в недавние времена (всем памятливы бесчисленные гордые птицы, мерзкие змеи и даже, кажется, грибы, отважно пробивающие головами дорогу к свету сквозь косную почву). Бели читатель помнит, в гаршинской сказке не одно действующее лицо на фоне чахлах и трусливых оранжерейных растений, но два: пальма и травка. Травка эта не имеет никакого собственного значения и служит для придания естественного вида искусственным оранжерейным грядкам. Но именно она, слабая и забитая, с мелкими пухлыми листьями, сочувствует гордой пальме, которой надоел тепличный потолок и негаснущий бледный свет. Можно сказать, что пальма все и затеяла во имя травки – дабы она увидела наконец свободу; прочим обитателям оранжереи это совершенно не нужно. В этой истории мне видится аналогия не с тогдашним радикальным движением, а скорее с участью всей нашей интеллигенции в последний век. Полагаю, если б я хоть полгода назад высказал мысль о том, что российская государственность была, в сущности, теплицей для нашей либеральной мысли, – та самая либеральная цензура, от которой бедствовал Гаршин, подняла бы в ответ привычный, хорошо срепетированный вой.

Пальме нельзя не расти, в этом ее предназначение. Теплице нельзя не ограничивать ее роста: не будь в ней так тесно – не было бы и так тепло, и пальма бы ниоткуда в ней не выросла. Травке нельзя не тянуться за пальмой, – но приписывать этой травке какую-либо собственную волю и тягу к свободе могли лишь очень недалекие, люди, не чувствующие

собственной истории. Даже неловко сегодня спорить с ними после того, как жизнь сама им все объяснила – я не люблю брать сторону жизни.

Сегодня дыра пробита, в теплице сквозит, стены ее шатаются. Дивиться ли, что формы русской государственности, какими они сложились в общих чертах еще при Петре, не выдержали напора! Возможно, теплицу стоило реформировать десять, двадцать, сто лет назад – но кто же в самом деле думал, что какая-то пальма пробьет потолок, казавшийся незыблемым! Великое пророчество нашего национального гения, лишь недавно открывшееся нам в подлинном своем виде, сбывается на глазах – одно только слово следовало бы в нем заменить: «Оковы тяжкие падут, теплицы рухнут, и свобода вас примет радостно у входа...» Что ж – приняла. Вокруг описанный Гаршиным хмурый пейзаж петербургского утра: снежок просеивается на улицы, словно сквозь сито, и пьяный мастерской с гармоникой бредет, не помня – откуда, не зная – куда. В Европе, на которую мы привыкли оглядываться, потому и не будет никогда ничего подобного, ее история потому и не знает бурных катаклизмов вот уже сто лет, со времени изгнания Наполеона, что демократия есть поистине безупречный механизм выращивания травки до уровня средней пальмы и принижения пальмы до роста крупной травки. Оттого лучшая европейская литература так напоминает в последнее время непомерно разросшуюся траву: но трава – все трава, хотя бы она и вымахала выше человеческого роста. Поразительно чутье Европы, которая уловила опасность революции, идущую от нового, умного поколения, – и тотчас бросила это поколение в войну, откуда оно выйдет и выбитым, и огрубелым. Люди, три года проведенные в окопах, далеко не способны к тем открытиям, прозрениям и бунтам, что люди, тридцать лет воспитываемые в теплице.

Что ж, спросит иной читатель, установление нового строя обережет нас от грядущих катаклизмов? Ведь пальмы будут вырублены под корень – после краха теплицы они никому не нужны? Осмелюсь успокоить этих мрачных пророков: демократия, пожалуй, и впрямь уберегла бы нас от возникновения новых национальных гениев, которым для роста потребны праздность, и неравенство. Но поскольку на воцарение демократии ничто в нынешней России не указывает, вся ее будущая история предстает нам таким же чередованием болезненно-бурных расцветов и нежданно-жданых катастроф: пусть расцветы будут потусклее – зато и катастрофы помельче.

Ничего удивительного, что новое государство (если о нем вообще позволительно говорить) начало с упрощений, а по сути, отмен – от Учредительного собрания до правил правописания. Обозначилась эта тенденция задолго до октябрьских событий – когда вместо утонченных, в Бердслеевом духе картин наши художники стали выставлять круги и квадраты. Иногда казалось, что иные наши пальмы и сами хотят уже стать травкой, чувствуя, что несколько занеслись в своем росте... да поздно.

А травка – что ж травка. Поживет еще и забудет пальму. Теплицу, конечно, восстановят, только будет она теперь попроще, поскудней. Никакого искусственного света – только дневной. Никакого круглосуточного обогрева – чтобы всякого рода *Attalea Princeps* не вымаживали выше среднего роста. В таком виде эта теплица может просуществовать еще многие десятилетия – единственное требование к нам, чтобы мы не вырастали выше положенного. Полагаю, в новых обстоятельствах, да еще с памятью о судьбе гордой соседки, нам нетрудно будет выполнить это условие. Но все теплицы и все пальмы кончают одинаково – вне зависимости от того, стоит ли теплица в Императорском ботаническом саду или делается собственностью восставшего народа».

Как и после сна, требовалось минут пять, чтобы прийти в обычное состояние, спокойно перечитать написанное, убрать повторы. Истина, казавшаяся новой и несомненной во время писания, выглядела теперь удручающей банальностью. Однако в целом он остался доволен – кое-какие случайные проговорки, когда пришлось отвлечься в сторону, обещали

интересные варианты. Ять уложил листки в портфель и вышел из дому. Завтрака он себе давно не позволял.

## 19

Мироходов сидел все так же в своем крошечном, тесно заставленном кабинетике, в четвертом этаже высокого серого здания на Среднем проспекте, напротив давно закрытой пекарни, где, помнится, выпекали прелестные розанчики с разнообразными вареньями. Ять всегда улыбался, думая о «Нашем пути». В конце концов, не так много было на свете мест, где он не чувствовал себя чужаком.

«Наш путь» (бывшая «Воля народа», а еще до того «Наша речь») размещался в одной квартире, состоявшей из пяти комнат и просторной гостиной, где собирали сотрудников или угощали гостей по случаям юбилеев. Юбилей успели отпраздновать единожды – пятилетие в марте, – но отмечали тут и дни рождения любимых авторов, и попросту выпивали без повода, когда было настроение. В прихожей обычно сидел чрезвычайно представительный дядя Лева, открывавший посетителям и охранявший редакцию на случай погрома (однажды действительно пытались ворваться какие-то мелкие драчуны, после статьи самого Ятя против Пуришкевича, но дальше перебранки дело не пошло, расколотили только с улицы пару окон). Теперь многое изменилось. В ноябре пришлось поменять название (тогда единым махом позакрывали двадцать пять, кажется, газет, но все через неделю разрешили после переименования). Дяди Левы не было – уехал из Петрограда к родне в Харьков, где казалось ему сытнее, – и Мироходов сам открывал посетителям. Он жил в том же доме этажом выше, с женой и двумя дочерьми (одна на выданье, вторая развелась, вернулась к отцу и снабжала газету переводами). Ять любил и семью с ее безалаберным, но любовным бытом, и борода-того, бровастого, подвижного ее главу, умудрявшегося шестой год делать пристойную газету среди всеобщего визга и торгашества.

– Читали нового Арбузьева? – сразу спросил Мироходов, и приятно было уже то, что спрашивает он не о новом постановлении правительства, не об отсутствии электричества и не об урезании пайка. – Удивительно! Все, что он пишет, мне чуждо, и однако, сама искренность...

– Да, очень интересно, – с порога отозвался Ять. – Кто он такой – вы так и не узнали?

– Говорят, историк.

– Ну, нет, – Ять махнул рукой. – Не обманете. Я своего брата газетчика учую за версту. Ежели хотите, расскажу в деталях, что за человек. Есть вещи, которые всякий может написать, а тут голос так и слышишь. Я даже думал, не псевдоним ли, – но не пойму, с какой бы стати сильную вещь печатать под чужим именем. Гувер рядом с ним бледноват, а ведь Гувер серьезный мальчик.

– А что ж, в этом споре я за Гувера. Он дело говорит.

Публицист Гувер утверждал только самоочевидные вещи, соглашался с авторитетами и спорил исключительно с теми, кто не представлял для него опасности. Он и теперь стоял на позициях столь правоверных, что даже Ять, считавшийся консерватором, испытывал некоторую брезгливость при чтении гуверовских слюнобрызгающих инвектив. Будь воля Гувера, он вернул бы в Россию домострой, ввел полуустан и упразднил табак. Арбузьев наскакивал на него озорно и безжалостно, заносясь, впрочем, в противоположную крайность – у него получалось, что лучше большевики, чем охранители; Ять, как всегда, не соглашался с обоими, но арбузьевский молодой задор привлекал его. Только ради многомесячной полемики этих двоих стоило иногда покупать «Путь».

– Так разве в этом вопрос, Всеволод Ростиславович? – Ятю нравилось прокатывать во рту самое имя Мироходова, столь вызывающе русское и неподходящее, казалось бы, к его образу мыслей, но точно к нему прилаженное, ибо даже при малом росте он производил впечатление силы и укорененности в мире. – Разве вопрос в правоте? Нет сегодня никакой правоты, и завтра не будет. Я давеча про то и написал, что не осталось незамаранных, и те хороши, и эти, а стало быть, придут третьи. Теперь уж не о правоте речь, а о честности. И Арбузьев мне, как хотите, приятней: он подставляется, а Гувер кругом прав. Неувлекательно.

– Все бы вам увлекательности, а между тем гибель – вот она.

– Я правоты боюсь, Всеволод Ростиславович, – твердо проговорил Ять. – Правота всего страшней. Гувер знает, а Арбузьев сомневается. Потому-то Гувер и большевик побольше Арбузьева. Вот помяните мое слово, Арбузьеву скоро руки не будут подавать. Паче всего мы боимся не угодить своему брату либеральному интеллигенту. Воплощенной укоризною и все прочее.

– Вы свое-то принесли?

– Принес, – Ять расстегнул старый портфель, служивший ему талисманом, и извлек пять утренних листков.

– Что же это вам Гаршин вспомнился? – глянув на название, спросил Мироходов. – Свежих впечатлений нет?

– Это самые свежие, свежей некуда.

Почитать, однако, Мироходову не пришлось. У него была обаятельная манера не прятать статью в ящик и даже не отдавать в набор сразу (что было лестно, а все-таки немного неприятно); он всегда прочитывал приносимое, пусть бегло, мигом выделял эффектную фразу, иронически или одобрительно произнося ее вслух; он и теперь поправил очки и пробежал уже начало, когда в редакционную дверь сначала позвонили, а потом, не довольствуясь звонком, принялись колотить.

– Обыск? – тихо спросил Ять.

– Не извольте беспокоиться, не извольте, – прокряхтел Мироходов, с удивительной невозмутимостью выбираясь из-за стола. – Дело самое привычное, это меня закрывать пришли.

– Так ведь уже закрывали.

– Да много ли газет осталось в Питере? Закрывать-то надо кого-то, вот и прилетел, голубок, по второму кругу...

Прилетевший голубок оказался высоким и страшно худым мужчиной с журавлиными, вывернутыми в стороны ногами, с черной бородой и огненными глазами, над которыми угрюмо нависал козырек картуза, отдаленно напоминавшего английское армейское кепи. С ним явились двое матросов и третий – явно темный, из самых настоящих, с желтым одутловатым лицом, замотанный в засаленное тряпье.

– Редактор «Нашего пути» Мироходов? – спросил голубок пронзительно-высоким голосом и гулко закашлялся. В кашле этом Ятю почувствовалось нечто картинное – привет, мол, из каземата.

– Точно так-с, – любезно сказал Мироходов, широко улыбаясь.

– Комиссар Минкин. От Единой комиссии по делам печати.

– Так я помню, помню! Вы же у меня в ноябре были! – еще любезнее расплылся Мироходов. – Я тогда требование ваше выполнил, все чин чином...

– Ваше направление не изменилось, – резко сказал Минкин. – Распоряжением Единой комиссии ваше издание закрывается.

– То есть как же оно может закрываться, голубчик?! – развел руками Мироходов. – Ему всего два месяца, и какое у нас направление? Мы, кроме афиш, и не печатаем ничего...

– Ваша газета не выражает точки зрения свободы, – крикнул Минкин, и матросы нахмурились. Темный все улыбался.

– Какая же у свободы может быть точка зрения? – поинтересовался Ять. – Я сотрудник газеты, так позвольте узнать, в каком духе...

– Я говорю с редактором! – взвизгнул комиссар. – Под прикрытием свободы вы протаскиваете угнетение. Свобода может быть одна – для победившего класса. Я опечатаваю помещение.

– Голубчик, но у меня же мандат, – спокойно произнес Мироходов. И визг Минкина, и спокойствие редактора словно входили в условия не вполне понятной Ятю, но им обоим давно ясной игры. Мироходов уверенно извлек сложенный вчетверо грязный листок, на котором было вкось, в начальственной манере, без ятей и еров начертано:

«Мандат. Настоящим удостоверяется, что газета „Наш путь“ является проверенной мною лично и может выходить в санкционированом мною порядке без чинения ей каких-либо препятствий со стороны других комиссий и подкомиссий. Председатель Петроградского комитета по делам культурной политики Грачев».

Минкин изучал этот документ долго и так сверлил глазами каждую букву, что Ять не удивился бы, увидев бумагу прожженной в нескольких местах. Поглощенный изучением листка, комиссар даже не сразу отогнал Ятя, заглянувшего ему через плечо.

– Я не знаю никаких Грачевых, и Грачев мне не указ, – произнес Минкин уже менее уверенно.

– Зато он вас очень хорошо знает, – улыбнулся Мироходов и извлек из жилетного кармана еще одну бумагу, не менее грязную и исписанную тем же почерком. Ее Ять из-за, плеча читать не стал, опасаясь гневить комиссара.

– Если вам еще удастся наладить связи с отдельными слабохарактерными товарищами, это не значит, что ваша газета неприкосновенна, – с ненавистью сказал Минкин, возвращая листки. – Я проверю, что за Грачев.

– Ради Бога, – кивнул Мироходов, – чрезвычайно обяжете. Если будут сомнения, заходите, я всегда рад представителю победившего класса.

Минкин окинул его таким взглядом, что менее хладнокровный представитель побежденного класса на месте Мироходова растаял бы в воздухе – но редактор только скрестил руки на груди и стоял так, пока комиссар с матросами и темным, стуча сапогами, выходили на лестницу.

– А в самом деле, кто такой Грачев? – спросил Ять, когда грохот затих и хлопнула дверь внизу.

– А я почему знаю? – картинно удивился Мироходов. – Сегодня Грачев, завтра будет Лебедев... Я решил птичками подписываться, чтобы соблюсти систему.

– Дайте посмотреть, – попросил Ять. На втором листке тем же твердым почерком было начертано:

«т.Минкин! Прошу умерить революционную бдительность. Гр.Мироходов известен лично мне. У молодой республики достаточно врагов, и вы лутше послужите ее делу, истребляя их а не борясь с сочувствующими. Пред. Петр. Ком. По дел. Культ. Грачев».

Ниже красовалась печать, в которой Ять с изумлением узнал печатку, которую он сам подарил мироходовской младшей дочери на двенадцатилетие. Печатка изображала мышь, склонившуюся над книгой.

– Сами писали? – спросил он.

– Почему сам?! – искренне возмутился Мироходов. – Метранпаж писал! Где ж мне взять такую роспись? Это же росчерк повелителя миров!

– И верят?

– Да чему же тут не верить, голубчик! – воскликнул Мироходов. – Я ее специально грязными пальцами захватывал, чтобы был настоящий документ! Они всякой бумажке верят. Вы думаете, Минкину хочется мою газету закрывать? Не читал он мою газету! Он и помещение реквизировать не хочет: не видно разве – борец, фанатик! Ему нравится ходить и власть употреблять. Образ власти для него теперь – любой текст, написанный на бумаге. А уж когда бумага адресована лично ему... воля ваша, устоять невозможно! Он ведь послезавтра опять придет.

– А вы?

– А я ему опять бумагу, опять с печатью.

– А если узнает, что нету никакого Грачева?

– Да как же он это узнает, ежели и комиссии никакой нет! – вознегодовал Мироходов на непонятливость собеседника, от которого впряме был ожидать все-таки большей сообразительности. – Не может же он знать все комиссии! Их сейчас знаете сколько – комитетов, подкомитетов? В иерархии черт ногу сломит. Но раз его знают – значит, вышестоящие. Приznak вышестоящего – знать подчиненных. А почему он ведает, вдруг этот Грачев шишка, вдруг он за неповиновение попрет Минкина из комиссаров на германский фронт?

– Но рано или поздно это раскроется, – покачал головой Ять.

– Рано или поздно все это кончится, – Мироходов обвел рукой окружающее пространство и вернулся в кабинет.

– Знаете что, – смеясь, проговорил Ять. – Выпишите и мне такую бумажку! Если не пригодится при встрече с патрулем, я для истории сберегу.

– Да пожалуйста, – пожал плечами Мироходов. – Будете писать мемуары – не забудьте упомянуть, что это придумал редактор «Нашей речи», большой путаник, но человек приличный.

Он взял лист серой бумаги, задумался, потом решительно начертил несколько строк и вручил Ятю. На листке стояло:

"Справкой удыставерено, что предявитель сего совершенно благонадежен и мною лично на сей предмет досмотрен. Председатель Петр. Раб. Сов. По вопр. Пролет. Благонад. Павлинов».

Росчерк занимал всю нижнюю половину страницы и в самом деле напоминал распущенный хвост.

## 20

На Сенной перед Ятем в наибольшей полноте и яркости развернулось зрелище, которое он привык уже видеть в Петрограде с пятнадцатого года, с первых военных неудач: иное дело, что в конце последней осени процесс этот неимоверно ускорился. На всем необъятном рынке с его колеблющимися, притопывающими, дышащими паром рядами, как и по всей России, тоже колеблющейся и окутанной паром, шел обмен необязательного на необходимое, избыточного на насущное. То, что было духовным хлебом для сотен – хорошо, ежели тысяч, – менялось на хлеб как таковой, сырой и землистый. На Сенной деньги стоили мало; валютой служили картофель, коричневые кубики мыла, плоская серебристая вобла с ее невыносимым и все же аппетитным запахом (и в нем-то Ять видел воплощение главного. противоречия своей нынешней жизни – смесь отвращения и жадности, с которыми ел, смотрел, прислушивался).

Станным казалось, что столько сложных, изысканных атрибутов прежней жизни враз потеряли смысл. Все они обладали ценностью только во взаимосвязи, условием существо-

вания каждой была тысяча других, – сами по себе они были странны, как вынутая из мозаики стеклянная чешуйка с обрывком линии, пятнышком цвета. Во множестве продавали книги, и вид у торговцев был отнюдь не жалкий, как думал пугливый Ять, опасаясь слишком непереносимых впечатлений; расставание с книгами, понял он вскоре, вовсе не мучительно. Многие он со временем не только продал, а и сжег – февраль был жестокий, – но ведь тело книги, в сущности, служило только бедной оболочкой ее души, которая давно перекочевала в его собственную. Продавая книгу, ты ее не лишался. Были, конечно, картины душераздирающие, и с одной из таких начался для Ятя долгий обход Сенного. На углу Садовой стояла невысокая старуха, явно из мещанок, в длинном суконном пальто и темно-зеленом платке. На снегу рядом с ней лежала стопка книг, по виду самых дешевых, не единожды прочитанных, – Ять привычно различил Наградскую; сверху лежала впервые им виденная книжка «Тепло и уют в вашем доме» – одно из бесчисленных и бесполезных пособий (полезных он не встречал), которыми вдруг наполнились книжные прилавки году в десятом. Тогда все кинулись догонять время, обустривать свою жизнь сообразно с прогрессом – словно, отчаявшись одолеть проклятые вопросы, решили зайти с другой стороны и попытаться наладить жизнь снизу, без оглядки на абсолют. Поток хлынули брошюры, и если какой-то год назад это были рекомендации по исканию и созиданию Бога, по овладению тайнами Тибета, то теперь тайны Тибета упоминались лишь применительно к аптеке, кухне и затеям под одеялом (восточная мудрость проникла решительно во все). Обывателя учили украшению жилищ, мясной и вегетарианской диете, уходу за ногтями, стихосложению, искусству составления писем; многие приятели Ятя сделали тогда небольшие, но быстрые деньги на выполнении заказа времени. Потом пришла сначала порнографическая, а затем патриотическая мода, между которыми успела еще вклиниться волна любовных саг, каждая по три тома.

Нынче, однако, никакая высокая словесность, полная великих страстей, не могла бы тронуть Ятя больше, чем копеечное руководство по обустройству жилья. Вот же, были в доме этой старухи тепло и уют, которые она старательно, по брошюре, навела. Были те, для кого она старалась, были наивные, жалкие ухищрения, все та же ненасущность и избыточность – прелестные мелочи вроде салфеточек, вышивок, гардин. В жизни не думая об украшении собственного жилища, презирая потуги на стиль, – теперь Ять готов был плакать от умиления при мысли о милом домашнем труде. Он хотел было взять у старухи книгу и непременно взял бы, будь у него свободные деньги. Когда час спустя он покидал Сенную, старуха все так же стояла около своей стопки, и так же на ледяном ветру предлагала свои советы лиловая брошюра «Тепло и уют в вашем доме».

Но попались ему и утешительные зрелища. Рослый профессор исторического факультета, из немногих последних дворян, всею статью своей опровергавших тезис о вырождении аристократии, неуступчиво и грозно торговался за толстенную «Историю итальянской живописи», с красочными вклейками, проложенными папиросной бумагой, и множеством фотографий среди текста. Просил он дорого – когда Ять проходил мимо, речь шла о превосходном ватном пальто, в котором легко можно было пересидеть в квартире любой холод даже при недостатке дров. До войны такая книга, изданная вдобавок в Италии, потянула бы на четыре ватных пальто, но по теперешним меркам торг был равный. Ять слушал однажды лекцию этого профессора и поражался его импровизационному дару, почти спекулятивной легкости извлечения концепций из любых двух сведенных вместе мелочей; теперь профессор спекулировал не менее убедительно.

Проходя по рядам, Ять дивился количеству отсеянного, выброшенного за границы жизни. До этой последней правды хотел дойти враг условностей Толстой, но ему не дано было понять в остервенелом срывании покровов, что только в покровах и заключается вся прелесть, весь смысл. Персики делались неотличимы, когда их объедали до косточки, а люди делались не просто равны, но одинаковы, чуть только сквозь мишуру личных примет и

смешных странностей злорадно, словно намекая на ошибку метода, оскаливалась основа. И Ять не удивился, обнаружив в одном из рядов скелет – лаборант горячевских курсов распродавал учебное имущество.

– Это что ж у тебя, дружок, что ли? – невесело усмехнулся, проходя, желтолицый горбун в подрезанной шинели без погон и фуражке путейца. – С голоду помер, так не пропадать же?

– Первый друг! – радостно отвечал лаборант. – Возьми, браток. Мemento мори.

– На что он мне, я скоро сам такой стану, – горбун сплюнул и двинулся дальше.

Откуда бралась в городе еда, которую можно было теперь увидеть лишь на Сенной, – Ять не знал и вникать не хотел. Привычный ход воображения подсказал ему рассказ о стране, в которой ничего нет и в то же время все есть, но где-то там (придумать ряд условий, которые надо соблюсти, чтобы попасть туда – грэмовской разрядкой); в городе нет трамваев, извозчики редки, не горят фонари, – там, напротив, от трамваев тесно, иллюминация горит, как днем, и все, чего нет здесь, там в избытке. Отсюда само следовало, что все, отсутствием чего он так остро мучился здесь, перекочевало туда и пышно расцвело – любовь, мудрость; загадка была в том, что сосредоточено все было не в одном месте, а в нескольких, которые надо знать. Еды в городе нет, но вся еда – на Сенном; трамваев нет, и все трамваи на Стрельне; нет любви, и вся любовь... Господи, куда же поместить ее? Какая часть города казалась ему средоточием нежности? Вероятно, на какую-то из набережных: любовь никогда не связывалась у него с уютом, с теплом постели – всегда с простором, с ясными небесными красками: Пряжка, думы, залив... Вся мудрость, естественно, поместилась на Елагином, где мудрецы, лишённые еды и привычной роскоши, корпят над отысканием причин этого внезапного перераспределения. Очень хороша могла быть сцена в пустой Стрельне с безлюдными, праздно ржавеющими трамваями, тоскующими по пассажирам. Электричества тоже нет... где же все электричество? Царство сияющих дуг, свист стремительно летящих частиц; любой, кто попадает в это пространство, чувствует, как сквозь него мчатся незримые лучи. Это должно быть похоже на ледяной душ, на пролет сквозь грозовую тучу... может быть, один из островов? Лучше Марсово: оно и так поле.

Так из утопии равенства, распределения всего между всеми сама собой получилась и почти уже осуществилась сказка о том, как все собралось сгустками и осело в разных частях Петрограда. Что же на его Зелениной? На пасмурной Зелениной ему захотелось поместить все одиночество мира, переставшее быть проклятием – ставшее блаженством и доставшееся ему. Но чем кончить, как смешать все это воедино? Почему из великого смешения получилось предельное расслоение – и когда это вышло? Видимо, ничего ни с чем нельзя было смешивать: мир состоял из вещей, все более отдельных и все менее стыкующихся. Никак нельзя было собрать воедино мудрость и любовь, и ни одна из них не годилась для союза с едой... Это могло получиться весело, особенно если решить повесть (разумеется, рамки рассказа уже будут этой истории тесны) как странствие героя через расслоившийся город, от трамваев до независимости, сквозь электрическое Марсово поле... Он запомнил сюжет и пообещал себе вернуться к нему вечером, после празднества. Здесь, на холоде, сил хватало только на первый толчок замысла. Он выменял запонки на грудинку, за триста пятьдесят керенских рублей купил фунт карамели и отправился домой.

## 21

Квартира, в которой они собрались, тронула Ятя с самого начала, и весь вечер обещал утдаться – еще когда в серых петроградских сумерках, под мелкой и влажной метелью, он подходил к дому на седьмой линии Васильевского острова. Даже в воздухе разлилось что-

то праздничное, обещающее. Дом был старый, годов семидесятых, с высокими лепными потолками. В прихожей Ятя встретила невысокая светловолосая девочка лет шестнадцати, в неправильном и милом ее лице светилась кроткая приветливость, и все опасения Ятя насчет того, что он окажется чужим среди молодежи, немедленно развеялись. Она так серьезно и аккуратно принялась отряхивать его шапку, что он, давно не выдавший ничьей заботы, смутился. «Проходите, почти все уже здесь, – сказала она не приглашающе даже, а просительно. – Я Зоя». Это и была хозяйка, о которой говорил Казарин. Ять церемонно вручил ей карамель и грудинку.

Зоя, дочь адвоката Коротина, впервые принимала гостей одна: родители решили устроить дочери настоящий взрослый праздник (как-никак шестнадцатилетие!) и отправились к друзьям на Зверинскую. Они прекрасно знали круг знакомств дочери. Петроградский союз учащихся был представлен в тот вечер лучшими своими людьми. Тут сошлись все, кто с февраля по декабрь успел проявить блестящие ораторские способности и даже дар организовывать митинги, и все эти гимназисты искренне полагали, что делают великое и святое дело, в меру сил способствуя раскрепощению самого бесправного класса – детей. Зайкины родители не находили ничего дурного в деятельности Союза учащихся, которая почти совершенно свернулась к началу нового года, но дружеские связи, слава Богу, не порвались. Все это были мальчики с задатками и девочки с запросами, из которых несомненно образовался бы цвет будущей государственности, если бы свободное государство не было раздавлено в зародыше. Зоя, которая казалась отцу изнеженным и домашним ребенком, много выиграла от участия в Союзе, обзавелась друзьями, расцвела на глазах – и оставить ее дома одну с компанией сверстников можно было без всякого риска. Естественно, мать приняла живое участие в подготовке застолья: изобрела несколько видов картофельных закусок, поджарила хлебцы, кое-что было прикуплено и отложено заранее – контраст между роскошью сервировки и скудостью угощения способствовал непредвиденному, но от того не менее обаятельному комическому эффекту. Народу собралось чрезвычайно много – гораздо больше, нежели рассчитывала Зоя, которую вслед за родителями все друзья называли Зайкой; хорошо, что каждый что-нибудь принес – иначе совсем нечем было бы накормить нежданную ораву и Зайка опозорилась бы на первом самостоятельном приеме. Явился Карамышев, сын арестованного министра, пришел его друг, студент-филолог Лосев; Казарин пригласил Львовского, с оратором Бражниковым пришел его старший брат, и средний возраст собравшихся вскоре повысился с шестнадцати до девятнадцати. Самого Казарина с Ашхарумовой еще не было – они обещали подойти к одиннадцати.

Это были хорошие дети, балованные и потому добрые, – мальчики и девочки из хороших семей, те, кому Ять с юности завидовал голодной завистью разночинца, – однако, несмотря на все разговоры о дворянском вырождении, они и теперь, в голоде и скудости, держались с достоинством маленьких лордов, с презрением ко всему внешнему, свойственным одним наследным принцам. Они были элегантны в подростковых платьицах и курточках, из которых успели вырасти, аристократично ели поджаренный черный хлеб, картова и светски щебетали, и прелестна была их молодая способность еще трунить над всем, что вызывало скучную скорбь взрослых людей образованного круга. Воспитанные на всем лучшем, они безошибочно уловили второсортность обещанной свободы. Пока, однако, им было очень весело. Разговор некоторое время покрутился вокруг нового года, в котором фантастичность обыденности должна была достичь новых высот и превзойти самое изобретательное воображение. Ять рассказал о грядущей отмене зимы, чем вызвал дружный хохот; затем выслушал несколько остроумных соболезнований по поводу своего упразднения. Кое-кто его читал, кто-то даже помнил отдельные фельетоны февральской поры («в которых было отрезвление», – с важностью заметил Коля Карамышев; стало быть, и министр читал, – и Ять улыбнулся собственному тщеславию). Правда, сущим кумиром этой молодой публики ока-

зался почему-то Льговский, чьи «Проблемы структуры» Ять так и не осилил, ибо не верил в возможность статистического подхода к лирике. Льговский, многих узнав в лицо (очевидно, то была его постоянная публика), заговорил о том, что каких-нибудь сто лет спустя все реалии нынешней петроградской жизни покажутся вымыслом.

– Да и мало фактов уцелеет, – говорил он, блестя глазами и посылая в разных направлениях заговорщицкие улыбки. – Никто не пишет прозы, и хорошо, если от этой эпохи останутся хотя бы дневники. Ведите дневники, это литература будущего! Проза действительно сейчас бессильна, ее напишут нескоро. Нельзя уже написать «Иван Иванович пошел», «Антон Антонович сказал»... Мера условности превышена. Можно написать «Петр Петрович полетел», и этому поверят скорее.

– А от прежней жизни и вовсе ничего не останется, – подхватил студент-филолог. – Я сейчас уже многие стихи читаю и поражаюсь: о чем идет речь?

– Да, да! – Льговский расхохотался. – Представляете себе, как будет выглядеть через сто лет реальный комментарий... Господи, ну хоть к «Незнакомке»! Все ведь смешается, для потомков седьмой и семнадцатый год будет – одно!

– Попробуйте, попробуйте! – умолял сквозь хохот Бражников.

– Ну, извольте. Как это понять: «По вечерам над ресторанами горячий воздух дик и глух»? Вероятно, в ресторанах готовят пищу и жар поднимается вверх: стоят огромные жаровни, на них мясо... несвежее, разумеется, потому что свежего негде взять, – так что вокруг разносится «весенний и тлетворный дух»: именно тлетворный.

– «Чуть золотится крендель булочной»! – продолжила высокая горбоносая девушка с прелестными миндалевидными глазами; ее называли Идой. – Дело в том, что накал электрических лампочек внутри кренделя соответствовал количеству хлеба в булочной, и если ток был слаб, то крендель именно «чуть золотился». Отсюда же и «детский плач», раздающийся неподалеку: детям не досталось хлеба!

– «И каждый вечер за шлагбаумами, заламывая котелки»! – подхватил Мика Бобышев. – Дело в том, что горожане не выходили на улицу без котелков, в которые складывали кашу... солдатскую кашу, которую иногда раздавали на улице голодным... Но котелок был предметом дорогим и редким, взять его было негде, и потому петроградцы вырывали котелки друг у друга...

– Заламывая руки, – кивнул Льговский. – «И каждый вечер друг единственный в моем стакане отражен» – это, конечно, Пяст, близкий друг автора в исследуемый период; он отражен в стакане, ибо подкрался к автору сзади и намеревается выхватить у него из-под носа вожаемый сосуд... Спиртное было в городе на вес золота!

– «Девичий стан, шелками схваченный»! – чуть не визжал от восторга Бражников. – Шелка – члены так называемой Школьной Единой Литературно-Критической Ассоциации, страшные бандиты из совета учащихся, нападающие на женщин по ночам. Женщины, схваченные шелками, никогда не возвращались...

– И заметьте, – уже серьезнее продолжал Льговский, – что вся эта музыка, гипнотизировавшая ваших родителей, а быть может, и вас, – сегодня никого уже не тронет, все приемы обнажены, торчат! Звукопись, сквозные «а» и «е», несколько искусственная музыкальность... а в целом – слово размыто, оно больше не значит!

Ять хотел ему возразить, но понял, что ввяжется в долгий спор и будет наголову разбит статистическими аргументами; рано или поздно эти дети все равно поймут очарование ненавистной баллады, в которой запечатлелась его собственная глупая юность. В конце концов, немзыкальные времена невечны, отлив закончится, начнется прилив – и на черные обнажившиеся скалы хлынет живительная вода, и сами эти скалы в разводах, ракушках и трещинах предстанут под нею райскими садами.

Но пора было подумать о паре. Последняя связь Ятя, тяжелая и нервная, оборвалась в сентябре; с тех пор он жил монахом. Не сказать, чтобы это слишком его тяготило – но с тридцати пяти он все чаще просыпался по ночам, вспоминал не то, что хотелось бы... Отказ от отказом, но живому довлеет закон жизни. Вокруг сидела прелестная молодежь – почему бы и нет?

Однако у прелестной молодежи были свои пароли и явки, система общих воспоминаний, в которой Ятю не находилось места. Эта компания еще до всякого Союза учащих ездил в Озерки, бегала в синематографы, ходила на поэтические вечера, – и не то чтобы у всякой девушки непременно был кавалер: просто девушки пока и не особенно нуждались в кавалерах. Здесь царила подростковая дружба, хотя и не без того, что Толстой называл влюбленьем. Куда было Ятю с его вполне понятной целью – тут полагалось долгое ухаживание, общность интересов... Пожалуй, Ида была недурна; Зайка совсем некрасива, но до невозможности обаятельна. Ей ужасно хотелось, чтобы вечер удался, чтобы его запомнили. Она ловила все взгляды, кидалась поддерживать все разговоры, – это была не светскость, а детскость, трогательное желание сплотить и развеселить. Ять заметил славную летучую рыбу, улыбающуюся с полудетского рисунка на стене, в самодельной рамке, – Зайка перехватила и этот его взгляд и закивала: «Очень красиво, правда? Прелесть... Это Юра нарисовал!» – и показала на студента Лосева.

Вот эту девочку и жалче всего, подумал Ять. Я все думаю, кто больше всего проиграет от происходящего, и забываю, что хуже всего придется маленьким добрым девочкам. Это перед ними больше всего виноваты декаденты всех мастей, посеявшие бурю... Когда все стало можно, большевики пришли на готовенькое. И пострадают от них больше всего, естественно, не стены Кремля, – стенам Кремля ничего не делается, они и не такое видели, – а девочки вроде Зайки. Сейчас Зайка как раз командовала мальчиками, чтобы те убрали стол и освободили место для танцев.

## 22

Ять пьянел – давно не пил, а тут, помимо единственной бутылки шампанского, извлеченной из старых адвокатских запасов, стол украшала литровая бутылка спирта, который разбавляли «крюшоном» – так Зайка называла разведенное в воде клубничное варенье с крупными размокшими ягодами. Спирту принес Барцев, он в основном на него и налегал. Члены Союза учащих пригубили, поморщились и отставили кружки. Ять, чувствуя ностальгическую грусть среди этих милых детей, выпил кружки три и проходил теперь все привычные стадии опьянения (особенно заметные, когда пил дрянью): сначала сентиментальность и умиление, потом беспричинную, тяжелую злость и под конец непобедимую сонливость. Сейчас он как раз переходил от умиления к раздражению. В начале двенадцатого, как и обещали, пришли Казарин с Ашхарумовой. Они явились не одни – Казарин прихватил любимого ученика.

Ашхарумова показалась Ятю еще красивее, чем прежде: черное бархатное платье, правда уже коротковатое, шелковые чулки, туфли, принесенные с собой в газетном свертке; преобразование ее совершилось мгновенно – только что в прихожей стояла рядом с Казариным снежная баба в толстой шубе, платке, валенках... Зайка кинулась целовать ее и торموшить – видно было, что она влюблена в Ашхарумову, как только добрые и некрасивые девушки бывают влюблены в блистательных старших подруг. Казарин нацепил на свой черный фрак линялый красный бант и острил по этому поводу. Их спутник, юноша лет двадцати, с моноклем, не понравился Ятю с первого взгляда: уже по тому, как он небрежным кивком поздоровался со всеми сразу, бегло оглядел присутствующих, вошел в комнату, уже по тому,

как безукоризненно он был одет, как гибко опустился в кресло и замер в расслабленной позе, – видно было, что ученик Казарина, как почти всякий ученик, усвоил у него худшее, а лучшего не перенял. Казарин мог быть снобом, игроком, ницшеанцем, дешевым парадоксалистом, – но его жег пламень нешуточный. Ученик, представившийся Стечиным – имени не назвал, – слишком позировал каждым своим жестом, чтобы заподозрить в нем талант (для Ять талант начинался не то чтобы со вкуса, – он знал, что талант и вкус часто враждуют, – но с простого, ненатужного, лучше бы иронического отношения к себе). И копившееся в Яте раздражение тут же обратилось на Стечина: тот молчал, но Ять поглядывал в его сторону, ждал, когда эстет заговорит и можно будет его срезать. Эстеты обычно полуграмотны.

Танцевали немногие – под граммофон, пост у которого тут же занял старший брат Бражникова. Между танцами Мика стал вдруг упрашивать Барцева, чтобы тот почитал, и Барцев принялся читать стихи, в которых Ять ничего не понял. Размер и рифма были в них соблюдены образцово, наличествовала даже какая-то звукопись, но смысл ускользал после первой же строчки. Барцев читал громко, скандируя, делая ударения на самых неожиданных словах:

«Рас-кру-тил-ся ШАР фонарный,  
опустился ЖАР угарный,  
рухнул локоть, встал рассвет,  
хочешь плакать? Можно нет.  
Вот корова, вот пятно,  
вот мужик и домино.  
Говорили мужику:  
ты умеешь ку-ку-ку?  
Отвечает ирокез:  
я желал бы наотрез».

Сочинить такое можно было только в наркотическом бреде или шутки ради, но Барцев был необыкновенно серьезен и умудрялся как-то помнить свои алогичные сочинения. Мика, однако, покатывался. Остальные слушали с вежливым недоумением.

– Скажите, – спросил Ять, когда Барцев вдруг выпалил «Всё!», тряхнул головой и сел на диван. – Скажите, как вы их запоминаете?

– Они нетрудно запоминаются, – объяснил Барцев. – Попробуйте, сами увидите. Мне гораздо труднее запомнить «Мой дядя самых честных правил». Какой дядя? Что мне за дело до его дяди? Я пишу лучше, потому что занимаюсь конкретным искусством. У меня слово опять значит. Я его помещаю в контекст, где оно не должно стоять, и в этом контексте оно обнаруживается. Дама надела домино – скользит мимо слуха, но мужик надел домино – а еще лучше, мужик надела домино, – высвечивает и домино, и мужика.

– Это сильнее футуристов, – покачал головой Ять.

– Вы совершенно правы, – без тени иронии кивнул Льговский. – Стихи Барцева идут много дальше того же Корабельникова. Что такое Корабельников, поэт большой, но, я полагаю, уже исчерпанный? Он мой друг, отличный парень, но его стихи – тот же Надсон, переписанный дольником. Он крупный мужчина, его не понимает маленькая женщина, от этого он злится на весь свет и считает себя революционным, но революционности в нем не больше, чем, например, в «Записках охотника». Он нигилист, Базаров, шестидесятые годы. А Барцев и его друзья по конкретному искусству – это действительно революция, хоть и ямбом, потому что вещь вырывается из привычного ряда и ставится в другой, что мы и наблюдаем сейчас.

– Но ведь в итоге получается поэзия, которую невозможно любить, – улыбнулся Ять. – Можно слушать, допустимо как эксперимент, но вы не станете этого читать на любовном свидании...

– Я непременно стану! – крикнул Мика. – Смех сближает.

Казарин снисходительно улыбнулся, Стечин остался непроницаем. Льговский не очень понятно заговорил о том, что комический эффект продуцируется в таких стихах помимо авторской воли и возникает по принципу средневекового карнавала, когда на место сакрального символа помещается символ непристойный. Он заметил также, что поэзия вообще не для чтения, не для услаждения приказчиков («Я не вас, конечно, имею в виду. Но сколько напортили поэзии приказчики всех родов со своими вкусами! Сколько сладкозвучных, слащавых, фальшивых пустышек было ради них понаписано!»). Поэзия существует для изучения, как, например, Мельников.

– О, Мельников! – подхватил Барцев, одобрительно кивавший все время, пока Льговский многосложно его интерпретировал. – «И ты, бряцающий толпою, и ты, глотающий песок, грохочешь молнией тупою и возрождаешься, как сок!»

– Только бессмысленное прекрасно, – улыбнулся Льговский в заключение своей тирады, – и вы сами, помнится, писали об этом.

– Я писал о вещах, лишенных прикладного смысла, – поправил Ять. – Я говорил о том, что прекрасны только вещи, польза от которых неочевидна. Но ваша поэзия, думается мне, сознательно уходит от своей первостепенной задачи – гармонизировать мир, делать его выносимым, фиксировать какие-то состояния, в которых вы могли бы узнать собственные...

– Вы гораздо больше собственных состояний можете узнать в моих стихах, – уверил его Барцев и принялся читать, словно раскалывая каждое слово надвое: – Вот: «Гаме-эли, бени-оли, Шами-лона, Мале-она»... Вы можете думать, что это о вашем отчаянии, а кто-то решит, что это об удачно выдержанном экзамене. Это понятно человеку любой страны и даже любой планеты.

– А может, вы и правы, – махнул рукой Ять. Льговский примирительно засмеялся.

Старший Бражников сел к фортепиано и принялся артистически наяривать полечку, Мика подхватил и закружил Зайку, а Казарин подсел к Ятю и, весь светясь тихим счастьем, предался воспоминаниям.

– Все мы говорили о крахе, о гибели, а были между тем здоровые, богатые, молодые люди, полные желаний, и смерть нас манила как одно из неизведанных наслаждений, чуть более экзотическое, но и только. Вы видели шубу Брюсова? Человек в такой шубе – неужели может искренне хотеть гибели?

– Он никогда и не хотел, – пожал плечами Ять.

– Ну, не он же один так любил роскошь и почет... Или Бугаев: написал мне однажды письмо... Я думаю, что могу рассказать его содержание, потому что он всем так писал, и в статьях тоже. Что-то о черной птице, которая шелковыми крылами весь мир занавесила; что-то про плат зари... И тут же, около плата, – оплата: подробнейшие расспросы, сколько платят в «Мусагете» (я был туда вхож), сколько могут ему дать за лист... Сто рублей просил за лист, вы слышали о чем-нибудь подобном? Ясно же после этого, что все его черные птицы с шелковыми крылами не стоят ломаного гроша...

В этом был весь Казарин: безошибочно выискивал смешные и натянутые фразы в сочинениях больших поэтов и жестоко высмеивал тех, кто, несмотря на все свои провалы и глупости, был в тысячу раз отважнее. Бугаев написал пропасть всякой ерунды, но поэт был несомненный и прозаик, при всей своей вечной путанице, большой: во всякой фразе слышался живой голос. Казарин больше всего добивался, чтобы его самого в его писаниях не было видно, – Бугаев распахивался в каждой строчке.

– Но теперь, – продолжал Казарин, – теперь, когда все мы действительно лишились всего, я действительно слышу эту самую, столько раз осмеянную и опошленную музыку сфер. Словно убрали все лишнее. И если литературе нашей остались каких-то два года,

прежде чем нас перебьют или мы сами выйдем, – это будут прекрасные два года, римские годы музыкального упадка...

– В римском упадке не было ничего музыкального, – сказал Ять. К ним подсел Барцев, и Ашхарумова скользнула по нему любопытным взглядом. Барцев был широкоплеч, конопат, трогательно курнос, под рыжими бровями часто моргали глаза – большие и несколько телячьи. – И я не думаю, – продолжал Ять, – что нас ожидает только упадок. У меня всегда было подозрение, что гибель – наша собственная выдумка, что мы свою гибель принимаем за конец Европы. А между тем наступает конец лишь нашей замкнутости в собственной скорлупе, может прийти свежая сила – как в шестидесятые годы пришли разночинцы, – и жизнь обновится.

– Ну что это такое! – воскликнул Казарин. – Не крестьянство же вы имеете в виду!

– Нет, конечно, не мужика... Я же говорю не о гении от станка или от сохи. Просто сами события придадут сил нам, все тем же нам, – уже появился истинный масштаб происходящего, как в начале войны. Не знаю, как вы, а я тогда радовался. То есть знал, что это постыдно, и в то же время ликовал: всем нашим связям, литературным потугам, внутрицеховым спорам вдруг придали дополнительное измерение. Историей запахло. И заметьте, что в самом августе очень многие стали писать, как давно не писали, – вовсе не о войне... Мне кажется, и сейчас будет что-то подобное.

– Обязательно, – заговорил Барцев и, как часто бывает, взяв сторону Ятя в споре, немедленно сделал его позицию смешной и жалкой. – Вот я читаю сейчас Пушкина – и мне тесно в его словаре. Словарь в несколько сотен слов. Лексикон поэту надо расширять за счет улицы, впускать в стихи техническую речь...

– Ах, да я вовсе не о том, – махнул рукой Ять и закаялся продолжать полемику.

Как всегда, он оказался меж двух огней: Барцев, милое и глупое дитя, понес какую-то новомодную чушь про техническую речь, чтобы произвести впечатление на Ашхарумову, Казарин упивался гибелью, – несомненно, с той же целью, – а он, как идиот, пустился в серьезный разговор о будущем литературы. Опьянение вступало в новую стадию – поднималась тяжелая злоба. Этим людям всегда было безразлично все, кроме производимого ими впечатления.

– Ну, а вы что думаете? – спросил наконец Ять у Стечина, почти грубо прервав рассуждения.

– Я ничего об этом не думаю, – пожал плечом Стечин.

– То есть как?

– Я не думаю о таких вещах.

– Вероятно, вы слишком для этого хороши? – открыто нагрубил ему Ять.

– Я не понимаю, что вы хотите сказать, – высокомерно отвечал Стечин, отворачиваясь.

– Я вам поясню, – сказал Ять почти вкрадчиво. Он чувствовал прилив настоящего бешенства и знал, что в таких состояниях бывает грозен. – Вы, вероятно, полагаете нужды грешной жизни слишком мелкими для того, чтобы человек вашего круга на них задерживался?

– Я не мыслю в таких категориях, – снова пожал плечом Стечин. – Я не пользуюсь такой лексикой – «нужды грешной жизни», «человек моего круга»... Я не работаю в прессе.

– То есть вам не нравится язык прессы? – еще вкрадчивее продолжал Ять. – Отлично, отлично! Я сам ненавижу его! Знаете, именно необходимость зарабатывать хлеб в газетах – это наследие первородного греха, если позволите, – лишила меня должной высоты взгляда. Я понимаю, какой чудовищной пошлостью должны вам казаться любые разговоры о политике, о размерах хлебного пайка, о деньгах, наконец... Человеку, напрямую подключенному к сферам, из которых истекают ледяные ливни искусства... так, кажется, писал г-н Мариетти?

– Мне нет дела до того, что писали всякие пошляки, – сказал Стечин, не пошевелившись в кресле. Набор пренебрежительных жестов был исчерпан: он уже и отворачивался, и пожимал плечом, к закурил – больше демонстрировать высокомерие было нечем. – Я не понимаю, с какой стати должен отвечать на ваши вопросы.

– Боже упаси, вы никому ничего не должны! – воскликнул Ять. – К вам обратились с вопросом, желая вовлечь в разговор. Тысяча извинений. Мне показалось, что вам скучно...

– С собою мне не бывает скучно, – с великолепным презрением ответил Стечин.

– Будет вам задираться, Ять, – попытался урезонить его Казарин. – Валя – человек другого темперамента, даже я не могу вызвать его на спор...

– Именно не можете! – продолжал Ять, замечая, что никто уже не танцует и не меняет пластинок – все следят за их ненужной, неуместной ссорой, – но остановиться уже не мог. – Пока мы с вами спорим, пока другие идиоты убивают друг друга – Валя покоится на своем Олимпе, совершенный, холодный, пресыщенный всем, признающий из всего мирового искусства только две строчки Рескина, три стихотворения Уайльда, хлястик пальто Метерлинка... Валя, вы любите кокаин?

– Я люблю, когда меня оставляют в покое, – отчеканил Валя. – Я люблю, когда люди знают свою меру и не пьют больше положенного.

– О да, да! Слово сказано: знание меры! Вот оно, истинное знание меры. Валя, позвольте перед вами преклониться: когда бы вы знали, до чего же я люблю людей, которые всегда правы! Ведь вы никогда ни в чем не замараетесь, потому что никогда и ни в чем не будете убеждены. Скажите, Валя: когда вы в последний раз заглядывали в газету?

– Вячеслав Андреевич, – обратился Стечин к Казарину. – Вы разрешите мне уйти? По моему, я сильно раздражаю этого господина, и он уже не вполне владеет собой...

– Помилуйте, зачем же вам уходить! – пылко воскликнул Ять. – Как можно выживать из дома безукоризненного денди вроде вас. Оставайтесь, заклинаю! Ведь ваш выбор предопределен? – он обернулся к Зайке. – Ведь в вашем молодом обществе, конечно, уместнее эстет? Ради Бога, простите, что я позволил себе напомнить о реальности. Реальности нет. Честное слово, я восхищен людьми, идущими на смену! Помните, Вячеслав Андреевич, когда мы пытались усовершенствовать реальность – ничего не выходило; пришли люди, попросту упразднившие ее! И самое поразительное – поверьте, я не так еще пьян, чтобы этого не заметить, – самое-то поразительное в том, что мне решительно нечего вам возразить, – снова отнесся он уже напрямую к Стечину. – Вы умеете каждой своей репликой внушить собеседнику, что он со всеми своими надеждами и опасениями не стоит носка вашего ботинка – о, безупречного ботинка! Вы всегда будете безупречны, а мы обречены на неправоту – хотя бы уж потому, что у нас есть убеждения, а у вас – только ваша безупречность, ваше презрение прежде всякого знания...

– Это вы на нас новые «Листки» обкатываете? – вяло спросил Стечин. – И много теперь платят за этот бред?

А, радостно подумал Ять, он читает «Листки». Но как стремительно переориентируются наши индивидуалисты: уже заговорил от лица всех! Еще немного – и этот кокаинист расскажет мне о вреде пьянства.

– Ну что вы, – почти завизжал Ять в ответ. – Кто же станет теперь платить за это? Я пишу «Листки» единственно по привычке, а питаюсь подаянием. Хожу в гости, пока пускают, и стараюсь накушаться побыстрее. Благодарю вас, господа, я и так уже злоупотребил вашим вниманием. – При общем молчании он отвесил поклон Зайке-хозяйке, зачем-то подпрыгнул и выпорхнул в коридор, не переставая истерически хихикать. Краем глаза он все время замечал упрямый и пристальный взгляд Ашхарумовой, и в нем читалось чуть ли не восхищение.

Он лихорадочно наматывал на себя шарф, когда к нему в прихожую выбежали Зайка и Барцев.

– Останьтесь, – умоляюще сказала Зайка. Она чуть не плакала: вечер испортился так внезапно и незаслуженно! – Останьтесь, пусть как будто ничего не было... да? Я понимаю, вам трудно, сейчас всем трудно... Жалость к ней еще подогрела раздражение Ятя против Стечина.

– Видите ли, Зайка, – сказал он очень спокойно, демонстрируя владение собой. – Мы с этим господином распознали друг друга с первого взгляда. Он любит быть всегда прав, я люблю быть неправ. Разойдемся полюбовно. Простите, что я вам подпортил праздник, но, ей-Богу, это не нарочно. Возвращайтесь к гостям и постарайтесь все забыть. Спасибо, все было чудесно, и вы чудесная.

– Я с вами во многом согласен, – надвинулся на него Барцев. Он был гораздо пьянее Ятя. – Вы точно сказали: хлястик Метерлинка. В наши времена к символистскому искусству уже нельзя относиться всерьез. Они не поняли величия индустриального века, прошли мимо автомобиля...

– Ага, – сказал Ять. – Искусно как коснулись вы предубеждения Москвы к любимцам, к гвардии, к гвардейцам, гвар-ди-он-цам! Да, да, вы тоже, в сущности, прелестный человек. Будете идти мимо – заходите. И вышел.

## 23

Снег облепил, закружил его, обдал свежестью горящее лицо. Ять все еще не утратил хмельного воодушевления. Ему еще не казался постыдным собственнй демарш – напротив, он был вполне собой доволен. Он возвращался на Зеленину, размахивая руками, громко разговаривая сам с собой.

– О да! – повторял он. – Да, вы несомненно представляете новую ступень в развитии человека. Но не спешите радоваться. Заметьте себе, что выигрывает всегда тот, кто проигрывает. Вы друг друга пожрете раньше, чем мы успеем что-либо с вами сделать. Вы не сможете воспроизводить себе подобных, потому что при таком взгляде на жизнь какие же дети? Ледяные, бездушные дети гнилого времени, способные говорить только об искусстве и кокаине... бессмертная гниль! Вот кто расчистил путь темному человеку. Пришли и сказали: можно все. Пресыщенные, усталые, безжизненные, испробовавшие все, кроме самого утонченного зла, – и зло пришло, и остановить его некому. Потому что добро стало смешно, пошло, глупо, жизнь вышла из моды – и вот кого вы все пустили в мир!

Об этом следовало еще подумать. Ять почти не чувствовал холода, а заблудиться не смог бы и в бреду: он шел быстро, не прекращая монолога. Страшно хотелось курить, но папиросы он оставил на столе. Вокруг Дымилаась вьюга, ни одно окно не горело, и ни одной живой души не попадалось навстречу. Шел третий час ночи. Он был уже на Пушкинской, когда фонари на всей улице мигнули, потом еще раз – и вдруг бледно, смутно загорелись; тут и пурга утихла, как по заказу, и в ровном неживом свете Ять увидел ледяную перспективу улицы, сосулечные наросты недавней оттепели на крышах и карнизах, черные окна – многие с выбитыми стеклами. Он замер, глядя на эту мрачную геометрическую красоту, и вдруг заметил под дальним фонарем маленькую фигурку. На темной ночной Пушкинской в третьем часу стоял ребенок лет восьми – менее всего Ять ожидал увидеть в эту ночь ребенка, и, однако, это не было ни сном, ни галлюцинацией. Он бросился бежать к фонарю. Там, сжавшись, засунув ручки глубоко в карманы пальто, в самом деле стоял и тихо всхлипывал мальчик. На голове его была вязаная шапочка, на ногах сапожки.

– Что ты тут делаешь? – крикнул Ять. Мысль о грабителях, о возможной приманке, о ловле на сострадание не пришла ему в голову. – Откуда ты? Мальчик не отвечал и продолжал жалобно плакать, шмыгая кнопочным носом.

– Потерялся ты, что ли? – не отставал Ять. Он вытащил ручки ребенка из карманов, принялся их растирать и греть. Они были ледяными, и Ять испугался за мальчика по-настоящему.

– Я... потерял папу, – чуть слышно ответил ему наконец мальчик. – Мы шли с папой... на него напали, я убежал позвать... никого не было, я бежал... заблудился... Папа, наверное, ищет...

Вид у мальчика был ухоженный, приличный и речь хорошего, воспитанного ребенка; ужасно было видеть его ночью, совсем одного, на пустой улице.

– Ну вот что, – решительно сказал Ять. – Адрес свой ты помнишь?

– Мы... мы живем на Третьей Рождественской, – всхлипывал мальчик. – Дом четырнадцатый...

До Рождественских надо было полгорода пройти пешком – вьюжной ночью предприятие почти неосуществимое, да вдобавок ребенок был едва жив от холода. Завтра с утра надо отвести его к родителям, а теперь Ять, присев перед ним на корточки, постарался как можно ласковей и убедительней позвать его к себе: отогреется, поест, а там и утро близко. Мальчик едва мог идти, с трудом передвигал застывшие ноги, – шагов через тридцать Ять попросту подхватил его на руки, поразившись, до чего он легок. Свет снова мигнул и погас, но метель не возобновилась (хотя так и казалось, что в темноте она начнется снова); своего углового дома он достиг через четверть часа. Хмель не то чтобы выветрился, но перешел в лихорадочную жажду деятельности. Ять был теперь собран и решителен.

Дома он первым делом усадил сонного, покорного мальчика на диван (ребенок, кажется, был в таком шоке от всего случившегося, что новым поворотам в своей судьбе уже не удивлялся), зажег «летучую мышь» – электричества, конечно, опять не было – и кинулся растапливать печь. Тут он обнаружил, что дров почти нету: запастись ими он думал с утра, заночевать собирался в гостях, а уходя от Зайки, о дровах думал меньше всего. Надо было что-то делать – квартиру сильно выстудило. Ять пробежался глазами по книжным полкам и принялся решительно снимать с нижней тяжелые, толстые тома, к которым прикасался редко: тут были собрания сочинений восьмидесятых годов, журнальные приложения, только занимавшие место. Это был первый раз, когда ему пришлось топить книгами, – но, видно, ничего не поделаешь. Да и как могли бы окончить свой путь эти книги, проникнутые такой многословной любовью к человечеству? Единственный способ не то что жечь, а хоть греть людей тяжелым восьмидесятичным глаголом был именно пустить эти тома на растопку. Все эти мысли вихрем пронеслись у Ятя в голове, пока он вырывал отсыревшие страницы и совал их в печь; дальше дело пошло веселее – переплетные нитки сгнили, страницы вырывались целыми блоками, их можно было укладывать, как дрова. Отсыревшая, скользкая бумага занялась не сразу, пополз тонкий едкий дым, но минут через пять все уже шипело и потрескивало, и змейки пламени тут и там замелькали в бумажной гряде.

Убедившись, что книги занялись (да и три полена у него все-таки еще были – часа на два согреемся), Ять принялся стаскивать с мальчика сапожки и пальтецо, трясти его, тормошить – самым опасным ему казалось именно сонное оцепенение, в которое ребенок был погружен все это время. Он уже не плакал и равнодушно позволял себя раздевать. Под пальто у него оказался праздничный бархатный костюмчик. Печь разгоралась, от нагретого кафеля плыли волны блаженного тепла.

– Сейчас уложу тебя спать, – громко говорил Ять на кухне, раздувая самовар. Он не хотел, чтобы мальчик испугался, оставшись в комнате один. – Выспишься, а завтра,

пораньше, пойдем домой. Ты голодный? Сейчас дам хлебца. – Ах, дурак я, дурак, оставил у них все конфеты... Но кто ж и знал... Он вернулся в кабинет.

– Как тебя зовут?

– Петечка, – тихо ответил мальчик.

– Петечка. Чудесно. Меня зовут Ять. – Он подумал, что представиться так будет веселее. Сейчас надо было как-то его развлечь, вывести из одури.

– Ять? – переспросил Петечка и впервые улыбнулся. – Как букву?

– Ну да, как букву. Я и есть буква. Ты в гостях у буквы. Буква никому не делает зла, она безвредная. Она опасна только для гимназистов. Но ты ведь еще не гимназист?

– Нет, я пойду в гимназию только через два года, – сказал мальчик почти важно. В его речи иногда появлялась эта обаятельная кроткая важность, как бы сама подтрунивающая над собой. Так говорили только дети особого круга, привыкшие, что все умиляются каждой их фразе, и снисходительно принимавшие это умиление.

– Ну вот, а пока тебе не следует бояться буквы Ять.

– А разве буквы живут в домах?

– Ну а как же, – стремительно импровизировал Ять, доставая из буфета хлеб, картошку и воблу. – Ты думал, они живут только в книгах? В книгах, милый ты мой, живут только наши изображения. Сами мы ходим среди вас, но вы нас не замечаете. А тебе повезло, ты в новогоднюю ночь оказался в гостях у буквы. Буква может исполнить многие желания, но только особого рода. Сам понимаешь, если ты сейчас захочешь арбуз, я тебе этого устроить не смогу. Петечка снова засмеялся – тихо и застенчиво. Вот и ладно, подумал Ять. Приходит в себя.

– Но если ты захочешь всегда писать грамотно, много читать, хорошо запоминать прочитанное – это очень просто. Скажу заклинание – и все исполнится. Вот, поешь.

– А буквы тоже едят? – спросил Петечка.

– Ну что ты. Мы никогда не едим, мы питаемся бумагой. Даже топим бумагой. Но для гостей, умных мальчиков вроде тебя, мы обязательно держим немного еды. К сожалению, я не запас конфет. Видишь ли, я ждал сегодня в гости другого мальчика. Он очень любит воблу.

– Больше конфет? – не поверил мальчик.

– Гораздо! – воскликнул Ять. – Гораздо больше конфет. Есть мальчики, которые конфет не едят вообще, потому что от этого портятся зубы. А рыба, между прочим, прибавляет ума. И если ты будешь есть много рыбы, тебе будет гораздо легче запомнить, где пишется Ять, а где не пишется. Теперь это не требуется, но это ведь временно. Через год-два, когда ты пойдешь в гимназию, потребуется обязательно. Мальчик неуверенно отщипнул кусок хлеба и надкусил картофелину.

– А яблочка у вас нет? – спросил он робко.

– Яблочка? Яблочко будет завтра. Пойдем к тебе домой и по дороге где-нибудь доставим яблочко. Мы сможем зайти по дороге к букве «я», с которой начинается яблочко, и взять у нее.

– А у вас только то, что начинается с ятя? – догадался мальчик. – А елка? Почему у вас нет елки? Он даже с буквой не мог перейти на ты.

– Зачем же мне елка? – возмутился Ять. – Ель пишется через «е». Ель и елка – слова родственные, а где появляется буква «ё» – туда я не хожу, потому что мы враждуем.

– Вы поссорились? – уточнил Петечка.

– Да, и очень сильно. Она считает себя самой бедной и обиженной, потому что ее вечно пропускают и изображают без точек. Точки, видишь ли, ее главное украшение. – Ять поневоле усмехнулся. Петечка улыбнулся в ответ: действительно, как смешно считать какие-то точки главной доблестью! – А я считаю, что я гораздо более несчастная буква. Меня все норовят запретить.

– Почему?

– Да говорят, что толку от меня никакого. Ты ешь, ешь, а я буду тебе рассказывать. Говорят, что звучу я так же, как и «е», что от меня одна путаница... Но мы ведь даже выглядим совершенно по-разному! Это все равно, что запрещать одного из близнецов: они ведь похожи, зачем нам двое одинаковых? У тебя нет братьев?

– Только двоюродный, – ответил Петечка с набитым ртом. Ему понравилось ночью есть холодную картошку с маслом, да еще в гостях у буквы.

– Но ведь ты видел близнецов?

– Конечно. У нашего дворника мальчишки-близнецы.

– Ну вот. Представляешь, как обиделся бы дворник, если бы одного из них запретили?

– Дворник бы не позволил, – уверенно сказал Петечка.

– Вот и я не позволю, – твердо сказал Ять. – Впрочем, даже если меня запретят, я все равно никуда не денусь. Я только спрячусь. Есть же такие специальные беглые гласные, которые пропадают. Например: дурачок – дурачка. Было «о», и нет его. Спряталось. Вот и я так могу.

– А куда вы спрячетесь? – спросил заинтригованный гость.

– Буду жить, где жил, только никто меня не будет видеть. Было в этом доме тринадцать квартир, а станет двенадцать. Эта будет невидимая. На месте двери стена. Только тот, кто меня помнит, сможет ко мне прийти. Ты вот, например.

– Как же я пройду сквозь стену? – не понял Петечка.

– Это для других будет стена. Для всяких дураков. А для тебя будет дверь. Ты сможешь позвонить в колокольчик и войти. И пока ты будешь у меня, никто не будет знать, где ты. Только никому не рассказывай, а то не увидишь дверь.

– А мы пойдем к другим буквам?

– Обязательно пойдем! У буквы «з» весь дом полон зайцев, – фантазировал Ять. – Они скачут прямо по квартире. Некоторые из них з-зеленые.

– Да, – подумав, сказал мальчик. – Вам не повезло. У вас очень мало всего.

– Ну что ты! – замахал руками Ять. – Что за глупости! Я есть во множестве слов, и все эти прекрасные вещи могут у меня появиться, стоит мне захотеть. И вообще, все буквы, кроме нас с «ё», очень дружат между собой и часто ходят друг к другу в гости. Если захочу, я всегда могу взять у «з» одного зайчика.

– И он тогда будет писаться через ять? – с ужасом спросил Петечка.

– Никогда в жизни, – уверил его Ять. – Если написать его через ять, у него тут же отвалятся ушки.

– Отвалятся! – выдохнул потрясенный Петечка.

– Да, да, отвалятся. Именно поэтому каждое слово надо писать правильно. Напишешь хлеб через «е» – и он будет черствый, невкусный. Напишешь печку через «е» – она будет холодная. Понял, как валено писать грамотно? Петечка уважительно кивнул.

– Ну, вот и славно. Теперь я сделаю так, что ты всегда будешь писать грамотно. Смотри! – Ять полез на дальнюю полку, где лежала у него ароматическая соль, странный подарок Клингенмайера. – Одна щепотка этой соли, кинутая в пламя, – и ты никогда, никогда уже не сделаешь ни одной ошибки!

Он подошел к печке и, не переставая мысленно благодарить антиквара, бросил щепотку в открытую дверцу. Пламя на миг изменило цвет – стало синим, почти фиолетовым; в комнате резко запахло какой-то пряностью. Запах был сладковатый, вроде коричневого, но гуще и таинственнее.

– Ну вот, – торжественно проговорил Ять. – Теперь ты всегда будешь писать правильно и всегда будешь помнить, как меня найти.

После кружки горячего чаю, нескольких кусков хлеба и картошки мальчик осоловел и размяк. Сонные глазки его глядели прямо, ни на чем не фокусируясь. Он даже начал слегка заваливаться набок. Ять поспешил подложить ему под голову подушку и укрыть своим пальто.

– А завтра мы поиграем, – сказал Петечка, принимая весь этот неуклюжий уход с усталой снисходительностью юного принца. – Вы ведь знаете игры? Я знаю много игр, я больше всего люблю фанты и знаю также «Море волнуется»...

Вдруг он вздрогнул и сел на диване. То ли эти игры напомнили ему дом, то ли, как все засыпающие дети, он на секунду очнулся, словно от толчка, перед тем как окончательно погрузиться в сон.

– Но вы не уйдете? – спросил он Ятя, хватая его за руку.

– Нет, нет, что ты, – Ять замотал головой. – Ни за что. Как: же ты мне не веришь? Вера пишется через меня, мне все обязаны верить.

Это соображение успокоило Петечку, а может, усталость взяла наконец свое – его смогло окончательно, и, даже не дослушав ответа, он снова завалился набок. Ять укрыл его, подбросил в печь предпоследнее полено и подошел к окну. Ни звука не доносилось оттуда, и единственное окно, как всегда, светилось напротив: что делалось там? Этого Ять, как ни старался, разглядеть не мог. Свет пробивался сквозь тонкую кисейную занавеску. Иногда мелькала тень – силуэт был так нечеток, что Ять не понимал даже, мужчина обитает там или женщина. Ничего не было проще, чем зайти однажды в дом напротив и узнать, кто там не ложится до утра; но по вечной своей склонности к тайнам, по давнему нежеланию слишком приближаться к реальности и давать себе отчет в ней он предпочитал пока угадывать, что может делаться за этим окном. Это делало жизнь куда богаче.

Внизу смутно белел снег, девственно-чистый, какого никогда прежде не бывало в Петербурге. Ять, как в детстве, прижался лбом к ледяному стеклу. От его дыхания тотчас расплзлось мутное радужное пятно. Но и холод стекла не мог отогнать страшной, тяжелой усталости, вдруг навалившейся на него. Виноват ли был хмель, вновь догнавший его в тепле, или дело было в ароматической соли Клингенмайера, только держаться на ногах не стало вдруг никакой возможности. На него напала та же одурь, что и на мальчика, но на дне сознания тлела, как жар под золой, раскаленная точка: нельзя спать, нельзя, нельзя. Меж тем проскрипело четыре, он восемнадцать часов провел на ногах, намерзся, переволновался, и наконец лег ближе к печке, положив голову на руки. Он знал, что бывают минуты, когда отогнать сон можно лишь титаническим усилием, но именно этого-то усилия никто и не хочет делать, – и тогда происходит ужасное, ужасное. Горе городу, если страж не станет бодрствовать... как это было? Вот такая же сонливость и слабость овладела всеми с самого сентября, и так же вдруг опускаются руки у всех, кто долго пытается спасти почти безнадежного больного... когда остается единственное, спасительное, может быть, усилие. Этих усилий было уже слишком много, и все они ни к чему не привели. Та же одурь... но этой мысли он уже не додумал до конца.

Ему снились пестрые, беспорядочные обрывки – дворцы, визири, темные витые минареты на фоне темно-синего неба с чужими звездами. Дважды он проснулся, вскинулся: мальчик тихо спал на его диване. Печь медленно остывала, в первое из пробуждений он подложил последнее полено, во второе закрыл заслонку, сберегая тепло, – после этого уже не просыпался до позднего утра. Небо очистилось, комнату заливал янтарный свет. Диван был пуст. Мальчик ушел незаметно, тихо одевшись, не оставив в комнате никакого следа своего пребывания. Ять вскочил, кинулся в соседнюю комнату, заглянул в шкафы, под стол (вдруг прятки?) – нет, странный ночной гость исчез, не желая будить хозяина. Верно, сам отправился на поиски дома. Как он дойдет до своей Третьей Рождественской? Ять набросил пальто, выбежал на улицу – никого, только прошла мимо старуха, таща за собой санки с

какими-то обгорелыми досками; разбирала, верно, пожарище на Арсенальной. Мальчика не было нигде. Многие потом видели этого мальчика.

## 24

Во второй раз Ять появился в Елагинской коммуны только через три дня после Зайкиного дня рождения. Он опасался встречаться с Казариным, чтобы избежать его укоров или холодноватого высокомерия, боялся застать там Стечина, с которым пришлось бы объясняться, – а вместе с тем хотелось посмотреть на Ашхарумову, в чем он и сам себе не особенно признавался. Вдобавок он чувствовал род ответственности за всю эту странную затею и не мог оставить дело без присмотра.

Последние три дня он провел в полубреду: система его координат так безнадежно рухнула, критерии так расшатались, что жить сколько-нибудь сознательной и активной жизнью не стало никакой возможности. Может, он и на Елагин шел главным образом затем, чтобы побыть среди людей, знакомых по былому времени. Как главное его качество – безошибочное чувство фальши – могло проявляться только в присутствии этой фальши, так и оценку происходящего он мог вырабатывать только в споре, только рядом с людьми своего круга, которых никогда не бывало много, но теперь не стало совсем. Что он делал? Сходил на Третью Рождественскую, искал четырнадцатый дом – это оказался трехэтажный пустой, запертый особняк «Лионского кредита»; мальчик что-то напутал – то ли номер улицы, то ли номер строения. Ять для очистки совести поспрашивал немногочисленных прохожих, не видали ли они ребенка восьми лет, в черном пальтишке и коричневых кожаных сапожках, – никто никого не видел, да Ять и сам понимал, что проморгал ночного гостя. Хотя как было не надеяться, что мальчик нашел-таки свой дом? Зрительная память у детей всегда лучше словесной.

В прочие дни Ять что-то писал, что-то читал, к кому-то ходил, соблюдал ежедневный урок по работе над никому не нужной книжкой, покупал у газетчиков «Знамя труда» и «Волю народа», удивлялся тому, что ничего не происходит, что немцы стоят в сотне верст от города и не делают никаких попыток его взять... хотя удивляться этому, в сущности, не следовало: ну, возьмут, и что делать? Ять ловил себя на том, что с интересом ждет любого продолжения: все было лучше, чем эта пауза. Вместе с тем ему казалось иногда, что нечто уже начало происходить, только он утратил чутье. Вейния воздуха, намеки, знаки были теперь слишком тонки, чтобы он мог уловить их. Что-то делалось, тихо и незаметно; темные с какими-то свертками сновали по городу все наглее. Заговор плелся, но цель его оставалась неясна.

Накануне прошел обильный, долгий снегопад, теперь было морозно и ясно. Ять перешел горбатый мостик и по заснеженной аллее, оставляя глубокие следы, двинулся ко дворцу. Охраны уже не было, документов никто не спрашивал. Казарин оказался дома и писал за столом, придвинутым к окну. Ашхарумова сидела в глубоком кресле с вязаньем и, когда Ять вошел, подняла на него черные круглые глаза. Против ожидания разговора о празднике на Васильевском не вышло. В Елагинской коммуны было не до того.

– Здравствуйте, Ять, – рассеянно приветствовал его Казарин. – Слышали, дела-то у нас какие? Раскол, сударь, раскол...

– Как раскол?

– Да садитесь, раздевайтесь. Маша, осталось у нас печенье? (Ятя опять кольнула их семейная идиллия, он все-таки завидовал, хоть и прятался от этой мысли.) Да, голубчик, стоит пятьдесят интеллигентов поместить в замкнутое пространство, где к тому же топят и хлеб есть, – на другой же день разобьются на двадцать фракций. Чем лучше топят, тем больше фракций.

– И сколько у вас пока?

– Пока две. Десятеро отселились, скоро и остальные уйдут. Да это только начало: потом и десятеро расколуются... Нельзя же тут жить и не повторять всю общественную структуру. В себе свои болезни носим.

Рассказ Казарина поразил Ятя, но не внезапностью происшедшего, а именно глубокой органичностью, полной и удручающей предсказуемостью его. Началось, как всегда, с еврейского вопроса, с которого теперь начиналось в России все. Заспорили о мере допустимого сотрудничества с властями. Ловецкий, естественно, доказывал, что без службы себя уважать невозможно, что и Батюшков сошел с ума, покинув должность, что в согласии с государством нет ничего зазорного и прочее в таком духе. Фельдман, на беду, заговорил о том, что ежели бы интеллигенция считала для себя более приемлемым взаимодействие с властью, так и власть давно приобрела бы человеческий облик, – а заодно скептически отозвался о бомбистах и прочей крайней оппозиции, наиболее виноватой. Тут, неожиданно для всех, вскочил с места Хмелев и принялся доказывать, что кому-кому, а Фельдману не следовало бы поносить бомбистов, потому что все сделали именно фельдмановские братья, а выходило, что и сам Фельдман.

– Вы о чем изволите говорить? – кротко осведомился карлик.

– Не делайте невинных глаз, не делайте! Я помню, что такое было называться русским в пятом году! Скажи, что любишь монархию или Отечество, – и с тобою никто не захочет разговаривать! Общественное мнение, пружина чести! Кружки грязных, полуобразованных ничтожеств, грязные волосы, грязные ногти! Это вы будете теперь ругать русских за то, что они допустили крайность? Это вы смеете теперь упрекнуть их в том, что они предали государя? Сперва вы растлили страну, а теперь она вам виновата?! – и прочие совершенно, ежели вдуматься, абсурдные инвективы, не имевшие к Фельдману никакого касательства: все знали, что он стоит вне политики и в немногих своих публицистических статьях призывал интеллигенцию прежде заняться собственным образованием, а уж потом – общественным переустройством. К чести маленького Фельдмана, он пытался погасить скандал.

– Вы раздражены теперь, Николай Алексеевич, – спокойно сказал он Хмелеву. – Успокойтесь, лично вас никто не обвиняет ни в чем. Хотя бы среди нас вы могли бы не искать врагов.

Последнее «мы» взорвало Хмелева окончательно. Это «мы» посмел употребить человек, которого он никак не мог считать своим – вся хмелевская кровь бунтовала против этого. Он совершенно потерял власть над собою и открыто, никого уже не стесняясь, заявил, что жида не смеют ему ничего указывать, что они довольно уже указывали всем и что вследствие этих-то указаний Россия и погибла.

Ответить на такое обвинение Фельдман был не в силах. Ять хорошо знал его, всегда любил, но понимал, став на его место, что в эту секунду он почувствовал себя не только жертвой чудовищного оскорбления, равного пощечине или даже худшего, – но и победителем. Как ни смотри на предмет спора, а противник, позволивший себе такой выпад, уничтожал себя даже в глазах единомышленников. Казарин очень достоверно изобразил, как Фельдман в первый момент испуганно заморгал, но тут же понял преимущества своего нового положения, встал из-за стола и молча принялся отряхивать сюртучок от крошек (всегда обсыпался и обливался). Тишина была общая, даже Хмелев не мог продолжать и только хватал ртом воздух. Он весь трясся (Казарин показал как).

– Ну а вы что ж? – спросил Ять.

– А я сижу, смотрю, что будет. Легче всего вскочить и сказать: «Николай Алексеевич, извинитесь сию секунду!» Вы меня с молодости знаете, Ять, я никогда в еврея не брошу камень, а все-таки, воля ваша, Хмелев порядочный человек. Я бы его предал, если б осадил. Но Борисов-то не таков, он скорее даст бороду себе сбрить, чем допустит, чтоб его заподо-

зрили в консерватизме. Он вскочил и твердым протодиаконским басом возглашает: «Я полагаю, Николай Алексеевич, что вы обязаны немедленно прекратить эту безобразную сцену и принести при всех извинения Осипу Михайловичу, в противном случае пребывание мое в одном помещении с вами сделается невозможным». Испугал, а?

Хмелев и сам понял, что перегнул палку, – но за последние годы он так устал сдерживаться, так возненавидел либеральный диктат, казавшийся ему куда опасней монархического, что не дал волю секундной слабости и обрушился теперь на Борисова. «Вязать Борисова-щенка!» – возгласил Казарин, и Ашхарумова звонко засмеялась.

– Тут вам и все: и па-а-апрашу не указывать, и сомнительные авторитеты, и антинаучный подход, и мальчишка, смеющийся советовать тому, кому он в сыновья годится, ежели бы у приличного человека мог вырасти такой сын... Всем интересно, но и противно, и, главное, старика жалко: роет старик себе могилу, донеси кто – не то что из дворца, а из города выкинут. Ну – прорвало. Когда сделал паузу, Борисов ему очень спокойно говорит: «Николай Алексеевич, станете ли вы доводить дело до суда чести или сами поймете, что высказанные вами вещи несовместимы со званием русского ученого?» Напирает, разумеется, на слово «русский», тем более что и сам типичный богатырь, бородачица надвое. Хмелев бы, может, и раскаялся, но после разговора про суд чести понял, что дело нешуточное. Долгушов тоже встрял: как вы – это он Борисову, – как вы смеете вашего же учителя, вашего же благодетеля... Он вас и при факультете оставил... Тут Борисов ему: я чту в Николае Алексеевиче своего учителя, но ежели мой учитель под действием таких ничтожных причин, как голод и холод, теряет человеческий облик и превращается в пещерного дикаря – мой долг сказать ему об этом, пока не сказали другие. Ну, после пещерного дикаря, сударь, я уж не знаю, как старик удержался от того, чтобы в него чашку не швырнуть. Тут, я думал, его и удар хватит. Весь побагровел, челюсть трясется – варвар, кричит, варвар! Вар, вар, где мои легионы! Ах, жаль, Марья не видела, она как раз в тот день мать навещала. Ну вот. Тут, естественно, Барцев вскакивает и говорит, что не позволит, что не даст...

– Сколько я знаю Барцева, – вставил Ять, – он должен был бы выступить совершенно мимо темы. Что-нибудь вроде: «Не смейте оскорблять дикарей, это гордыня белого человека»...

– Что вы, – неожиданно вступилась Ашхарумова, – он не такой. Он иногда только, чтобы посмеяться... но на самом деле вовсе не дурак!

– Да, он малый острый, – небрежно заметил Казарин. – После вашего ухода неплохие стихи читал. Ну так вот: Барцев кричит, что не позволит, Седова визжит, что не позволит Барцеву, Льговский заявляет, что он тоже еврей, Кривицкий ему отвечает, что гордиться, к сожалению, нечем, – тут к Хмелеву возвращается дар речи, и он заявляет, что секунды не останется в этом притоне и что лучше сдохнуть под забором, чем провести остаток дней среди предателей и кретинов. Отшвыривает стул – прошлого, между прочим, века – и направляется к дверям, но на полпути разворачивается и вопит, что и страну в свое время не покинул, хотя звали и в Гейдельберг, и куда хотите, – и потому не понимает, почему должен уйти он, когда он здесь из тех немногих, кто получает еду и тепло по праву. Его город, его остров и чуть ли не его дворец. «Да, да, – бормочет очнувшийся Фельдман, – уйду я, должен уйти я, потому что из-за меня, как всегда, началось, уж такая наша доля – изгнание». Говорит он это без тени игры, не лукавя, не педалируя – видно, что солоно; а куда пойдет? Одни кричат: уйдете вы, другие: нет, уйдете вы! Под конец Фельдман плетется к себе укладываться, его поддерживает Борисов, идя на полусогнутых, а с другой стороны Барцев, тоже согнувшись колесом; Хмелева отпаивают чаем, Льговский говорит, что ноги его тут не будет, – в общем, амуры, черти, змеи.

– А вы-то что? – снова поинтересовался Ять.

– А что я? Я смотрю, и все смотрят... Коротко сказать, откололись десять человек. Поначалу хотели отвести Фельдмана домой и обеспечить уход, но потом придумали другое. «С какой стати мы будем оставлять ЭТИМ звание академической коммуны? Мы сами академическая коммуна, с не меньшим правом!» Порешили на том, что будет второе общество. Помните анекдот, как русские подрядились строить тоннель под Ла-Маншем? «А ну как не встретитесь? – А как не встретимся, то у вас будет два тоннеля». Ашхарумова засмеялась, влюбленно глядя на него.

– И что, ушли?

– Завтра хотят уйти. Львовский придумал на Крестовском поселиться, там тоже дворец. Паек хотят забрать, Барцев к Чарнолускому пошел с утра – просить, чтобы дворец отдали. Все равно пустой стоит. Да и дач там полно, селись в любую... Переедут, заживут отдельно.

В эту секунду дверь распахнулась, и на пороге показался Горбунов – с белым, искаженным лицом, с вытаращенными глазами.

– Вы не знаете? – крикнул он. – Вы слышали?

– Что, что такое? – вскочил Казарин.

– Кошкарев и Шергин... этой ночью... убиты... в Лазаревской! Он хлопнул дверью и помчался оповещать дальше.

## 25

Вся Елагинская коммуна стремительно собралась в Овальном зале. В первый момент на лицах обитателей дворца читался только испуг, почти ужас. Большинство из них ничего толком не знали о Кошкареве и Шергине, в лучшем случае слышали имена, – но ежели дошло до убийства арестованных, да еще и в больнице, это могло означать только одно: дело действительно серьезно, началось нечто еще небывалое. Убийц уже взяли, больше они никого тронуть не успели; узнав об этом, Ять вздохнул свободнее. У него были свои причины беспокоиться о Лазаревской больнице.

Горбунов рассказывал чудовищные подробности. Убийство совершилось поздним вечером – Шергин уже спал, Кошкарев читал в постели. Вломились те самые матросы, которые неделю назад отконвоировали их в больницу. Все были пьяны. Сторожу приказали открыть (сейчас выясняли, не был ли и он в сговоре), протопали на третий этаж, Шергин проснулся, закричал – ему выстрелили в рот; пуля выбила передний зуб, задела корень языка, он захлебнулся собственной кровью. В Кошкарева выпустили три пули, все попали в грудь и живот, но он жил еще полтора часа и смог назвать убийц. К нему-то и вызвали хирурга – тот сразу понял, что дело безнадежное и надо только облегчить страдания, но от инъекции морфина Кошкарев отказался. В последние минуты он плакал, жалел, что не вырастит детей (которых вчера только к нему приводили – он впервые после трех месяцев заключения увидел их), и все удивлялся: ведь матросы были к ним вполне доброжелательны... Хотели послать за женой – он попросил не делать этого, через час потерял сознание и еще через полчаса умер.

– Я знал, – тихо и твердо повторял Алексеев. – Я знал и всем вам говорил. Эта власть и нас собрала единственно для того, чтобы уничтожить одним махом. Что вы теперь скажете? А? Что вы теперь скажете?! – и тыкал пальцем в Борисова.

– Скажу, что сначала надо узнать все обстоятельства, – так же тихо и твердо отвечал Борисов. – Я допускаю и то, что это провокация...

– Чья провокация?! – забывая окать, кричал Горбунов. – Моя провокация?

– Да вы-то при чем? – отмахивался Борисов. – Может быть чья угодно, вплоть до немцев. Если выяснится, что убийство произошло по приказу властей, – это исключает вся-

кое сотрудничество. Если окажется, что пьяные матросы разбуянились, – надо посмотреть, будут ли они примерно наказаны...

– Наказаны! – шипел Долгушов. – Чтобы своя своих не познаша? Им происхождение служит индульгенцией, они всех нас могут перебить – и ничего не заслужат, кроме поощрения...

– Вы-то что думаете, Ять? – спросил Казарин.

– Я Кошкарева знал немного, – Ять все пытался представить его умирающим, с тремя пулями в груди, плачущим – и не мог: он помнил его сначала молодым земцем, идеалистом, народолюбом, потом посредственным, хоть и горячим публицистом, потом членом кабинета, министром здравоохранения, – доброжелательным, мягким, умеренным... – Мы в последний раз виделись, кажется, в августе, меня Мироходов попросил с ним побеседовать. Одного в толк не возьму: если кого из правительства и был резон арестовывать или казнить, то уж этого в последнюю очередь. Никакой закономерности не вижу, никакого смысла...

Он лгал, конечно, и лгал прежде всего себе. Смысл был именно в том, чтобы погибли Кошкарев и Шергин, двое кротких, неразлучных, всю жизнь бывших на «вы», но всегда сводимых судьбой в роковые часы истории. Оставалось непонятным, как поступит новое правительство: оставит убийство безнаказанным (но тогда, пожалуй, и комиссаров сметут по одному – они такие же пролетарии, как мы крестьяне) либо попытается примерно наказать, вплоть до публичной казни... последнее вряд ли. Ясно было одно – революция выходит из-под контроля и скоро пожрет собственных детей; трудно было поверить, чтобы комиссары вроде Чарнолуского или даже Воронова смогли удержать этот поток в каком-никаком русле. Эти соображения Ять и начал излагать Казарину, когда вдвали послышался треск автомобиля. Проехать к дворцу из-за снежных заносов машина не могла и остановилась, едва съехав с моста. Все кинулись к окнам. Утопая в снегу и оскользясь, ко входу во дворец брели Чарнолуский и Барцев; за Чарнолуским поспешал дюжий матрос – видимо, комиссар не ездил теперь без охраны. Лиц было толком не разглядеть, сверкало только комиссарское пенсне.

– Арестовывать приехал, – спокойно сказал Хмелев.

– Этот-то? – презрительно усмехнулся Алексеев. – Не поверю. Агитировать идет. Сейчас будет говорить про уродливые гримасы.

Чарнолуский с утра знал об убийстве Кошкарева и Шергина и долго сидел в кабинете, не решаясь ничего предпринять. Он знал, что убийцы и не думали скрываться – завалились спать в казарме; что даже утром, с похмелья, они считали свой поступок подвигом и не склонны были раскаиваться – «Они ж все равно были не жильцы»; Бродский, конечно, был теперь обречен, но и не в Бродском было дело. Непонятно было, имеет ли он сам право уйти, или следует остаться до выяснения всех обстоятельств. Он однажды уже подавал в отставку и писал даже негодующее письмо, которое собирался передать в газеты, – о том, что он не может отвечать за состояние культуры, которую разрушают так называемые герои революции; Бронштейн тогда высмеял его, и многие присоединились. Получилось очень гадко. Он и теперь начал было писать прошение об отставке, но, написав первые строки, застопорился. Следовало все же понять, как пойдут события, – но тут доложили о приходе Барцева, и вошел этот милый, рыжий, застенчивый, ни о чем не подозревающий футурист, с которым Чарнолуский никогда прежде не виделся, футурист стал сбивчиво рассказывать о том, что филологи и литераторы, собранные в коммуне, разошлись по вопросу об отношении к власти, что разделил их также национальный вопрос, но суть не в этом... Словом, часть деятелей литературы настроена более радикально и хотела бы создать собственную коммуну... и Чарнолуский чуть не расцеловал рыжего: перед ним была та новая интеллигенция, о которой он мечтал, которую пестовал! Только ради этого стоило затевать всю историю: интеллигенцию достаточно было собрать в приличных условиях на неделю, чтобы из ее среды выделился передовой отряд! В этих условиях бросать пост было никак невозможно. Надо было немед-

ленно отправляться во дворец и говорить что угодно, лишь бы успокоить елагинцев. Там наверняка уже знали, а если не знали – пусть лучше узнают от него.

Выигрывая время, он долго отряхивался на крыльце, оббивал ботинки (грубые, старые), долго пропускал Барцева впереди себя, наконец вошел, скинул пальто... Некоторое время молчали все – и комиссар, и коммунары. Наконец Чарнолуский поднял глаза и заговорил.

– Вы знаете, зачем я здесь, – начал он на этот раз без всякого обращения. – Все мы скорбим по поводу гибели честнейших, вернейших деятелей России, ее, посмею сказать, совести. Не стану говорить о том, что значили для страны имена Шергина и Кошкарева. Мой долг – лишь рассказать о том, что произошло на самом деле...

– Из первых рук, – сказал Алексеев очень тихо, но Чарнолуский услышал. Он выдержал паузу, в упор посмотрел на профессора, потом потупился, словно пытаясь справиться с чудовищной, незаслуженной обидой, – пересилил себя и продолжил.

– Революция в опасности, – заговорил он медленно и скорбно. – И никто не угрожает ей так явно, так нагло, как силы, которые она сама разбудила. Пока лучшая часть народа жертвует собой, терпя нечеловеческие лишения, – худшая его часть пользуется свободой для грабежа и убийства. Гибнут не только представители аристократии – гибнут и честные работники, и сознательные пролетарии; и лучшие из крестьян, и ни в чем не повинные герои, которые могли бы рассчитывать на благодарность масс, а получают от них пьяный дебош... Кошкарев и Шергин больше других сделали для своих убийц, но их убийцы не знали, на кого поднимали руку...

– Если бы вы их не взяли, – сипло возразил Хмелев, – эти матросы и не знали бы, кто перед ними! Вы сами указали им мишень.

– А кто указывает мишень десяткам людей, нападающим на первого встречного?! – осканился Чарнолуский. – Кто натравливал уличных бандитов на любого прохожего в пенсне? И началось это, прошу заметить, задолго до нас! Мы первые, кто попытался остановить разгул преступности, развал фронтов, квартирные грабежи! И создание вашей коммуны, господа, – он сам не заметил, как эти «господа» соскочили у него с языка, – в конце концов, часть той же политики: попытка защитить гордость страны от голода и беззакония! И я знаю, что многие из вас ценят это, но страшатся сотрудничества с властью! Сначала царизм, а потом и правительство Керенского все сделали для того, чтобы скомпрометировать саму идею власти. Но если мы все любим Россию – нам никогда не удастся спасти ее поврозь! И потому вчерашние выстрелы – это выстрелы в нас...

– Может, их не матросы убили? – язвительно спросил Казарин. – Может, переодетые немцы или кто из кадетов? Чтобы на вас, так сказать, пала кровавая тень? Овальная зал одобрительно загудел. Чарнолуский, к чести его, уловил иронию.

– Я не могу вам сейчас сказать, кто это сделал и какова будет участь преступников, – заговорил он, снова уставившись в пол. – Я знаю одно: они поплатятся, и жестоко. Вашей коммуне будет придана дополнительная охрана. Вы по-прежнему вольны покинуть ее в любой момент. Я слышал о явлениях раскола в вашей среде и сожалею о них, потому что именно расколы не раз уже губили страну. Сейчас, после невинно пролитой крови, надлежит сплотиться, и тогда гибель двух честных работников будет хотя бы не напрасной. Пусть подтолкнет нас она к объединению, потому что иначе нам не спасти родину...

– Да ведь это вы, вы развязали злодеям руки! – не выдержал Хмелев. – Как вы смеете отмежевываться от убийц? Ведь это вы им дали оружие, поставили охранять арестованных, дали чувство безнаказанности! И у вас хватает наглости говорить теперь, что вы не причастны?

– Вы не смеете говорить мне этого! – загремел Чарнолуский. Все-таки и у его терпения был предел. – Вы не понимаете, чего нам стоит удерживать порядок в городе! На улицах, в

лесах, в городах убивали и при царской власти – и невинных расстреливали, как девятого января, сотнями! Я знал, знал, что теперь любое уличное хулиганство будут ставить нам в вину, – но никогда не предполагал, что услышу такой упрек от образованного человека!

Хмелев, непривычный к отпору, несколько сник. Чарнолуский понял, что бой остался за ним и что надо ковать железо, пока горячо.

– Я прошу, я умоляю вас, – заговорил он, задыхаясь, словно этот порыв отнял у него последние силы. – Я прошу верить, что наша скорбь, наше отчаяние не меньше ваших. Трагедия должна всех нас научить беречь и щадить, а не истреблять друг друга. Подло, бесчеловечно использовать ее в политике, размахивать ею, превращать акт вандализма в акт политический! Это недостойно памяти борцов, недостойно имени интеллигентов... русских, наконец! Я клянусь вам всем, что есть у меня святого: никто из убийц не уйдет от возмездия! Если случится иначе – чего я не допускаю ни на секунду, – я немедленно выйду из правительства.

Это было сильное заявление. Похоже, Чарнолуский достиг цели. Возможно, теперь ему удалось бы остановить даже раскол в коммуне, – но тут заговорил Казарин.

Никто не тянул его за язык, и, вспоминая ту речь, Ять думал, что никто больше его не сделал для окончательного раскола. Он говорил сдержанно и тихо, но с таким зарядом ненависти, что все выкрики Хмелева меркли перед этим непробиваемым презрением. Для начала он ележно заметил, что глубоко благодарен представителю большевистского правительства за исключительную заботу о филологической науке; ясно было, сколь горяча его благодарность. Он придал переселению профессуры в Елагин дворец характер изгнания из города чуть ли не в резервацию. Он хотел бы, конечно, надеяться, что их квартиры не будут за это время реквизированы; когда Чарнолуский открыл рот, чтобы пылко уверить в неприкосновенности профессорского имущества, Казарин, не повышая ледяного голоса, сказал, что лично он господина комиссара не прерывал. Далее, заметил Казарин, все попытки приписать убийство двух честнейших деятелей только пьяным бандитам не будут иметь никакого успеха, ибо именно на пьяных бандитов и опирается новая власть, и именно им – или таким, как они, – поручена охрана прочих арестованных. Никакою нервозностью – естественной, конечно, при исполнении такой трудной должности (тут последовала змеиная улыбка) – нельзя объяснить зверского убийства беззащитных и больных людей. Пока новая власть не освободит всех арестованных и не даст гарантий свободной печати, ни один интеллигентный человек не сможет поручиться не только за свою жизнь, но и – что всего важнее – за свою честь. И до этого ни о каком сотрудничестве с этой властью речи быть не может. Ибо даже самое жестокое наказание убийц не означает еще, что подобные зверства не повторятся, что они не происходят сейчас, в эту самую минуту... Но в эту самую минуту распахнулась дверь и вошел Льговский – бледный, небритый и необыкновенно сосредоточенный. Таким Ять видел его впервые.

– Я сейчас от Воронова, – сказал он, глядя в пустоту и обращаясь ко всем сразу. – Убийцы арестованы и будут осуждены. Бродский смещен. Семьям выделены средства, у Шергиной был Балашов.

Все названные фамилии никому ничего не говорили, но в лице Льговского столько было серьезности и сознания значительности происходящего, что никто не пристал с расспросами. Не раздеваясь, размотав только шарф, Льговский молча прошел на второй этаж.

– Вы видите теперь, – торжественно произнес после паузы Чарнолуский, – что власть делает все, чтобы искупить свою вину, пусть и невольную. Мы надеемся, что вы поможете нам обуздать стихию.

Чарнолуский пообещал лично быть на похоронах выдающихся деятелей и с достоинством вышел. Барцев побежал было за ним, но махнул рукой и остался: решать вопрос о расколе было теперь не время.

– Ну что? – Казарин подошел к Ятю и слегка толкнул его в бок. – Ловко?

– Что ловко?

– Ловко я этого трепача?

Ять с трудом одолел злость. Казарин пользовался благодеянием тех, кому не хотел подавать руки, – и именно от него исходила самая непримиримая отповедь мягчайшему и несчастнейшему Чарнолускому, заложнику происходящего.

– Что сделали вам этот трепач? – спросил он почти резко.

– Мне – ничего, – бодро ответил Казарин. – А пусть хамы знают, что не купили никого своей моржевятиной.

– Да ведь вы сами сюда пришли!

– Потому и пришел, что все это по праву мое, а могло достаться им. Я и в Мариинку вселился бы, будь такая возможность. Вы что же, Ять, – с ними?! – И он взглянул на него уже отстраненно, даже чуть откинув голову, словно смотрел теперь с позиций безупречной духовной элиты, из которой Ять трусливо дезертировал.

– Знаете, – сказал Ять, чувствуя тот же прилив бешенства, что и на дне рождения Зайки, – в ту минуту, когда вы принялись уничтожать этого несчастного, – самого приличного из них, можете поверить, – я был скорее на его стороне. Его, а не каких-то «их». Их я не знаю. Но отчего вы всегда хотите быть так неуязвимы?

Он бы и еще много чего ему наговорил, упомянув, возможно, и седину в бороду, и беса в ребро, – но тут подлетел громогласный, длинноносый Корнейчук и спас положение. Он перемещался по всему залу, вступал в разговоры, ужасался, надеялся, ахал, все запоминал – вот у кого память была абсолютная, хранившая залежи нужного и ненужного, – и теперь дошла очередь до них.

– А! Что! – по-репетиторовски восклицал он. – Но Льговский каков! Откуда у него доступ во все эти круги!

– Да он и не скрывает вовсе, что еще на фронте разагитирован. Они у него все в дружках. – Для Казарина уже не было ничего неясного.

– Вы куда сейчас? – спросил Ять у Корнейчука, желая прекратить тяжелый разговор.

– Домой, домой, – тут же засобиравшись тот. – Уж третий час, мне писать... ночами не сплю, совершенно голова не работает.

– Для кого вы все пишете? – язвительно спросил Казарин. – Газеты закрыты, журналов нет, книги не издаются...

– У меня Булыгин обещал сказку купить, – объяснил Корнейчук, – и я думаю издать новонайденный отрывок Слепцова...

– Да кому теперь нужен Слепцов!

– Может, никому и не нужен, а работать надо. Дети, дети... Да и не в детях же дело. «Человека такого усталого не держи – пусть идет», – процитировал он своего любимца и, взяв Ятя под руку, пошел с ним к дверям. Ять полагал, что, едва они окажутся на улице, наедине, Корнейчук заговорит о Шергине и Кошкареве; он знал их и наверняка имел особое мнение о степени виновности властей, – но Корнейчук, против ожидания, принялся рассказывать ему о том, как он не мог заснуть и всю ночь читал Boswell'a (Ять узнал его книжный язык, верный признак самоучки)... Поначалу он думал, что Корнейчук опасается подслушивания, но вот они вышли на мост – а тот все не умолкал.

– Послушайте, – сказал Ять, остановившись посреди моста. – Вы в самом деле можете сейчас говорить о Босвелле?

– Но о чем же еще говорить?! – изумился Корнейчук. – Разве можно говорить о чем-то другом? Язык нам дан, чтобы скрывать свои мысли, каждый в одиночку переживает ужас.

– Да, да, – сказал Ять. – Я вас понимаю. Помните ответ Августина: а если бы во время игры в мяч вам сказали, что через четверть часа рухнет мир?

– Продолжал бы играть в мяч! – пылко подхватил Корнейчук. Он обожал игру в цитаты, это было для него слаще обмена паролями. – Продолжал бы играть в мяч!

## 26

Поздним вечером 25 января, после похорон Шергина и Кошкарева, в Елагином дворце долго не расходились, сидели при двух лампах за столами (керосин кончился, нового за треволнениями последних дней, не подвезли) и изредка прерывали тягостное молчание воспоминаниями об убитых. Что-то главное оставалось несказанным, и разойтись было невозможно. Вместо того чтобы объединиться в общем горе, елагинцы все отчетливее чувствовали рознь, и любые попытки общей скорбью заслонить надвигающийся разрыв выглядели непростительным фарисейством. Ужаснее всего было состояние тоскливой неопределенности, владевшее всеми не только в Елагином дворце, – но только в Елагином дворце, пожалуй, уже догадывались, что эта-то неопределенность, вечная спутница русской смуты, и убила ни в чем не повинных, никому не мешавших людей. И потому пятьдесят человек, сидевших за столом на первом этаже и тихо, с долгими паузами переговаривавшихся в полумраке, понимали, что определяться так или иначе придется – чем скорее, тем лучше. Было холодно, пальто никто не снимал. Иногда дежурный – на сей раз это был Казарин – подбрасывал дров в две печки, стоявшие по углам залы. За окнами было серо, потом черно.

Первым не выдержал Хмелев – впоследствии, вспоминая тот вечер, почти все были ему благодарны за это.

– Вы, вероятно, ждете, – заговорил он медленно и угрюмо, – что старый мракобес примется сейчас брюзжать и валить все на наших благодетелей. Велик соблазн обмануть эти ожидания, но делать нечего. Как хотите, с самого начала я был прав. Убийцы сидят в Смольном, и разговоры о наказании не стоят ломаного гроша. Вы скажете, конечно, что оружие направляли не они... все это мы сегодня слышали, покорно благодарю. Они три года растлевали и расшатывали страну – этого довольно. Они агитировали на фронтах – это тоже общеизвестно. Они отняли у нас профессию, упразднили то, чем во все времена приличный человек отличался от неприличного, согнали нас, как скот, в эту резервацию... Мы и это терпим, и это глотаем! Чего еще надо, чтобы понять: эта власть преступна, она ни перед чем не остановится! Раз уж мы собрались вместе, раз уж они по малоумию своему дали нам этот единственный и последний, вероятно, шанс – не воспользоваться им было бы и вовсе позорно! Нам нужно сейчас не отношения выяснять, не друг с другом спорить, а понять, понять, пока не поздно: вот кто правит теперь Россией! И мы, горстка людей, это понимающих, в силах хотя бы напоследок плюнуть в хамские рожи!

– Вы самосожжение предлагаете? – спросил Томилин, сорокалетний театральный обозреватель, напросившийся в коммуны неделю назад.

– Оставьте, – махнул рукой Хмелев. – Я предлагаю не искать с ними компромисса, а выработать формы борьбы... сформулировать требования...

– Николай Алексеич! – медленно, тоном долго сомневавшегося и наконец решившегося человека заговорил Борисов. – Сделаем вид, что не было известного инцидента неделю назад. Но ведь я хорошо помню нашу беседу в июле прошлого года, когда вы с тем же пылом называли «этой шайкой» правительство Керенского. В этой шайке были и Шергин с Кошкаревым, просто теперь они мертвы и вас вполне устраивают...

– Ваша воля – доносить или не доносить на меня, обнародовать или нет мои интимные разговоры, – устало сказал Хмелев. – Да, я ненавидел Керенского и не верил в его правительство. События показали мою правоту – ни страны, ни власти эта компания не удержала. И если я их под горячую руку назвал шайкой, – не отрицаю, бываю резок, ибо душой кри-

вить не умею, – то нынешних впору назвать взбесившимся стадом. Шайка – это хоть человеческое понятие, а стадо – звериное.

– Да Николай же Алексеич! – громче обычного воскликнул Борисов, которого никто еще не видел в таком возбуждении. – Неужели вам, человеку в полном смысле интеллигентному и безусловно честному, нравилось то, во что превратилась Россия? Неужели вам не внушает надежды возможность покончить со всею этой рутинной единым махом? И назовемте уж вещи своими именами – мы с вами лучше прочих знаем русскую орфографию; кто из серьезных ученых, положи руку на сердце, назовет ее совершенной? Кто из нас осмелится защищать русскую государственность? И в орфографии, и в управлении обществом – страшные наслоения ненужных условностей, века рабства, триумф муштры, тупой силы... Нам ли с вами не знать, что такие завалы голыми руками не разгребаются – их надо взорвать, чтобы с самого начала выправить весь русский путь, вытравить русскую татарщину! Оставьте в организме одну большую клетку – завтра она вновь изуродует его, скрючит в три погибели, рабством отравит кровь! Неужели мы не оценим единственного исторического шанса, неужели отвернемся от него? Ведь если не мы – новую Россию и впрямь построят такие люди, что Господь не приведи. Нам ценить надо, что чарнолуские готовы спрашивать нашего совета. Не в традициях русского интеллигента – презирать народ, третировать его за темноту и отказывать ему в праве решать собственные судьбы...

– Стыдно, Константин Борисович! Стыдно-с! – оборвал его Алексеев, вставая с места. По вечной привычке к кафедре он ораторствовал стоя. – Вы говорите о традиции русской интеллигенции, а два лучших русских интеллигента лежат на Волковом, и торжествующим скотам дела нет до их традиций! Традиции сострадания к народу действительны до той лишь поры, пока народ не берет колья, не жжет книг, не гадит во дворцах! Вам же угодно, как и вашему отлученному кумиру, – верю, что он теперь горит в аду на костре из своих сочинений, – лизать этот народ, трусливо прислуживать ему и гордиться его зверствами! В личной своей судьбе вы вольны, но зачем же всю нацию толкать на этот путь? Никто не скажет, что царствование последнего императора было совершенно. Не в последнюю очередь и он виновен. Но лечить больного можно по-разному, рубить ему голову – не лучший способ!

– Я слушаю вас, – вступил наконец Льговский, словно очнувшийся от задумчивости, – слушаю и тоже чувствую себя мертвецом. Что плакать по орфографической норме, которою унижали и насиловали двадцать поколений русских детей? Лотреамон и Корбьер упразднили традиционную пунктуацию за пятьдесят лет до большевиков. Свифт писал вовсе без знаков препинания. Мысль является вся, сразу, не сообразуясь с правилами. Мысль требует знака для наиболее полного выражения, но вынуждена довольствоваться грубыми буквами. Буквы чертил дикарь. Дикарю нужны были ограничения на любые случаи, Бог говорил с ним одним словом – «нельзя». Но пришел сын Бога и сказал, что Бог не в запрете. Мы живем в дни третьего завета. Может быть, теперь время отказаться от букв вовсе и единым иероглифом двигать миры. Когда молодой Бог творил молодой мир, он говорил «А» – и от этого звука рождались не арбуз и алмаз, надоевшие нам в азбуках, а свет и воздух, пространство и время. Вам жаль орфографии, а мне жаль, что не упразднены слова – бедные, грубые слова. Я хочу, как Мельников, говорить «Брут, браг, агабаран!» – и слышать, как братья над брагой клянутся в верности, закалывают барана, кричат от счастья в горах, и горное эхо им вторит: ага! ага! Я хочу самоценного звука и небывалого слова, а вы заставляете змею плакать над сброшенной кожей. Погибли двое, погибнут еще многие, – старый яд крепок. Но нам ли, словотворцам и словознатцам, бояться смерти? Мы не умираем, мы становимся новым словом, какого еще не было. Нет Шергина и Кошкарёва, есть знак-Шергин и знак-Кошкарёв, и они будут жить, пока жив язык. И я хочу быть знаком-Льговским, а не приват-доцентом Льговским.

Он говорил размеренно, словно читал Библию, четко отделяя один стих от другого. Его речь хотелось так же, по-библейски, записать – стихами, короткими абзацами, состоящими из одного предложения.

– Тупой футуристический бред, – сквозь зубы заметил Долгушов. – Я с господином Льговским спорить не стану, я не имею чести его знать достаточно близко... Но вы-то, Константин Борисыч! – обернулся он к Борисову. – Вы ученый с именем, я вас студентом помню – вы были вдумчивым, любознательным юношей! Я и работу вашу первую помню, о языке Герцена, – что ж, кто-нибудь вам мешал заниматься Герценом? За демонстрацию в пятом году хотели вас исключать, помню, – но ведь отстояли, ездили к Мирскому, петицию подавали за вас и еще десятерых студентов с задатками! Неужели вы всерьез слушаете все эти разговоры о самоценных звуках?!

– Владимир Николаевич, я все помню, – в тон ему, тихо ответил Борисов. – Но признайте и то, что вся сколько-нибудь талантливая литература в последние годы пошла налево, а не направо, и даже закоренелые декаденты...

– Да эти пусть себе выдумывают что угодно! – воскликнул Хмелев. – Писатель на то и писатель, чтобы проживать чужую жизнь. Нацию-то зачем толкать в пропасть? Поодиночке пусть спиваются, нюхают кокаин и упраздняют пунктуацию – народу-то к чему подстраиваться под них?!

– Поймите, Николай Алексеевич, – мягко сказал молчавший доселе Ловецкий, – никто не подстраивается. Это же они не с потолка взяли, а в воздухе поймали. Вы скажете, что декаденты устраивают оргии, – а я вам скажу, что оргии, которые устраиваются в сибирских деревнях, среди самых темных и озверевших мужиков, дадут сто очков вперед любому декаденту!

– Это верно, – окая сильнее обычного, словно стремясь доказать глубокое знание жизни, подтвердил Горбунов. – Это – очень верно...

– И не стал бы я считать это только бредом, – вступил барин Соломин, от которого менее всего можно было ожидать подобной реплики. – Как хотите, я всей современной поэзии предпочту Корабельникова. Если откуда и вольется свежая кровь в русскую поэзию – то не от Мельникова даже (Мельников, на мой вкус, сумбурен, в нем нет поэтической дисциплины), а вот от этого дылды с его гримом и кошками.

– Льется, льется уже свежая кровь! – надрывно выкрикнул Алексеев. – Вовсю льется!

– Не бывает без крови-то, – заметил Соломин. – Она и в четвертом, и в пятом лилась, и в четырнадцатом – море... И больше прольется, если не найдется кто-то, за кем будет сила. Воля ваша, силу я вижу за этими. Россия может быть либо сильной, либо, простите уж, никакой. В Корабельникове есть мощь... Да и Мельников, кстати сказать, дворянин, только нарочно через «т» себя пишет.

– Дворянин? – хохотнул Комаров-Пемза.

– Творянин, – спокойно поправил Соломин. В тоне его Комаров с некоторым ужасом почувствовал неискоренимое презрение профессора и дворянина, хотя бы и самого демократичного, к разночинцу, хотя бы и лучшему в Петербурге словеснику. Ему страшно было подумать, что может получиться из смеси этой сословной спеси, имперских взглядов и большевистской «свежей силы», – и он успокоил себя: померещилось.

– Неужели вам не хочется начать сначала? – снова заговорил Льговский. – Неужели вам не хочется построить новую жизнь с нуля, без кнута и татарщины? Вы скажете мне сейчас, – он прямо, тяжело посмотрел на Алексеева, – вы скажете мне: чем жид – лучше татарин. Вам невдомек, что я предлагаю вам мир без жида и татарина, без границ и условностей...

– И земного тяготения, – ехидно вставил Казарин.

– И земного тяготения, – твердо продолжил Льговский.

– Вы думаете, что связаны пиджак и плечо, – сказал Барцев. – А я думаю, что связаны пиджак и четыре. Может быть логика Евклида и логика Лобачевского, физика Паскаля и физика Эйнштейна. Вы хотите жить в двухмерном мире, а я в четырехмерном. Чтобы был трехмерный, нужны мы оба.

Ашхарумова улыбнулась и посмотрела на него долгим заинтересованным взглядом. Он говорил дело. Ей давно уже казалось; что Эйнштейн, Лотреамон и Мельников упразднили старое искусство, что мир утратил прежний порядок и силу тяготения, – и падать ей было слаще, чем ходить. Она вопросительно глянула на Казарина – отчего тот молчит? – но он лишь отрицательно качнул головой. Разговор был принципиальный, дело шло не о репутациях, а о том, удастся ли сохранить единство; на единство ему было наплевать – он всю жизнь был сам по себе, – а репутацию при таком накале страстей стоило побережь. Можно было ограничиться парой mots, не имевших особенного смысла.

– Демагогия, мерзкая демагогия! – не выдержал Долгушов. – Убивать ради искусства, насиловать ради новой логики... Боже мой! До чего докатилась нация, если таков ее цвет! И это в день, когда два мученика...

– Оставьте вы в покое двух мучеников, – неожиданно резко сказал Соломин. – Эти мученики были воплощенными посредственностями, я знал обоих, и единственный свой подвиг совершили, когда умерли. Не будем же оскорблять лицемерием их память и признаемся, что к великим событиям подошли банкротами. Ради такого признания стоило погибнуть... чтобы другие могли начать заново. Когда гибнет империя – за ее возрождение надо заплатить.

Льговский подумал, что возрождение империи – последнее, чего ему бы, пожалуй, хотелось на этом свете. Но терять такого союзника, вдобавок непредвиденного, он тоже не собирался, а потому почел за лучшее промолчать.

– Значит, война, – твердо и грустно произнес Хмелев, но тут же с последней надеждой поднял глаза на Борисова. Борисов молчал.

– Тогда уж знайте – все пойдет всерьез, – опустив глаза, проговорил Хмелев. – Если вы с ними – мы враги.

– Если для вас важнее, с кем мы, а не кто мы, – мы действительно враги, – также потупившись, отвечал Борисов.

– Ну, прощайте. Я вас всегда любил, Константин Борисыч.

– Я и впредь буду любить вас, Николай Алексеич.

Только прощального объятия недоставало, но от этого последнего движения удержались оба. Некоторое время все молчали.

– Господа, прошу ко мне, – деловито сказал наконец Соломин. – Квартира велика, там обговорим наши планы, а затем выберем новое место. Вещи можно завтра забрать, а я живу тут неподалеку.

Он встал и пошел к выходу. За ним потянулись остальные раскольники – общим числом пятнадцать человек. Льговский выжидательно обернулся на Ловецкого, но тот отвел глаза и остался на месте.

– Да, – сказал Хмелев. – Ну что ж, ну что ж. Да... Жаль, что они не дают нам спирту. Сейчас не повредило бы, честное слово.

– А вы взяли бы у них спирт? – спросил Казарин.

– Отчего ж нет, взял бы. Отняли профессию – пусть обеспечивают. Не романы же мне писать о братьях Чихачевых и роковых Маланьях.

– И что вы намерены делать?

– Будем спорить с ними, пока они будут нас терпеть. Будем бороться...

– Ну, Бог в помощь, – сказал Казарин. – Я буду с вами. Веди нас, Сусанин. Есть времена, когда важно не делать то-то и то-то, а быть там-то и там-то.

Ашхарумова посмотрела на него загадочно – он прочитал в этом взгляде только нежность, но было в нем и любопытство, и вызов, если угодно. Впрочем, она не сомневалась: где надо быть – он знает лучше других. Ночи прекраснее этой у них еще не было.

## 27

Первым газету развернул Ватагин; некоторое время он сидел в полном оцепенении.

– Что ж вы не читаете? – вмешался наконец Оскольцев. – Что там такого, большевиков, что ли, скинули?!

– Убили, – выдохнул Ватагин.

– Кого? Кого? – зашумели все.

– Шергина с Кошкаревым.

– Быть не может, дайте! – Гуденброк решительно шагнул к нему и вырвал газету. Ватагин не пошевелился, так и застыл с выпученными глазами. – Ну где, что? (В полутьме, вечно царившей в семнадцатой камере, человеку с его зрением трудно было разглядеть узкий шрифт «Речи».) Господи! Господи!

– Да читайте же, черт бы вас.

– «В ночь на двадцать второе января караульный Изотов, под чьей охраной арестованные министры были перевезены в Лазаревскую, с тремя матросами ворвался в больницу. Изотов, как рассказал снятый им караульный матрос, был в сильном опьянении и ярости... С караульным он не разговаривал, сказал ему только, что „нечего врагов стеречь“». – Голос Гуденброка задрожал, и он опустился на нары.

– Мерзавцы, – прохрипел Ватагин. – Как они смели нам не сказать? Мерзавцы!

– А для чего вам говорить? – тихо спросил Гуденброк. – Овца не должна знать, что ее зарежут. Но теперь-то вы поняли, что отсюда не выйдет никто?

– Мерзавцы, – повторял Ватагин. – Мерзавцы. Мерзавцы.

Все еще повторяя это слово, он встал, сомнамбулически подошел к двери и принялся медленно, размеренно колотить в нее кулаками. Скрежетнул ключ, и в дверь просунулась голова караульного Крюкова.

– Что буяните? – спросил он с добродушием сытого кота.

– Убийца! – заорал Ватагин и плюнул; Крюков еле успел убрать голову, но тут же вновь просунулся в камеру.

– К своим захотелось? – уже без всякого добродушия, ровно спросил он. – Так это мы живо. Погодите, скоро все к ним пойдете. Кончилась лафа.

Прошло около часа – в молчании, в редком обмене ничего не значащими словами, – когда ключ опять повернулся в замке и в камеру по-хозяйски вошел Изотов. Он был крепко избит, левый глаз его заплыл, на правой скуле багровела ссадина. Между тем глядел он победителем, хозяином.

– Слышь, братишка, всех их сразу-то не пореши, – хохотнул ему вслед Крюков.

– Не бойсь, тебе оставлю, – не оборачиваясь, ответил Изотов.

Он стоял у двери, захлопнувшейся за ним, на виду у всей семнадцатой камеры; девять человек с ужасом глядели на него.

– Послан для укрепления боевого духа, – сказал Изотов. – Разнежились тут, так вот для порядку. Приказ главного командования, – он усмехнулся и прошел к свободному месту в углу. Прежде это место занимал Шергин.

– Стоять! – заорал Ватагин, вскакивая. – Не смей! Не сюда!

Изотов посмотрел на него с любопытством, подошел вплотную и некоторое время постоял, качаясь с пятки на носок и заложив руки за спину. Вдруг он с птичьей, хищной вне-

запностью ткнул Ватагина головой – удар пришелся в нос, Оскольцев знал, как это больно. Ватагин закрыл лицо руками и сел.

– Митинг объявляется открытым, – сказал Изотов. – Слово имеет... имеет кто или нет? Не имеет. Митинг объявляется закрытым. Он лег, вытянул ноги (толкнув Гротова), надвинул на лицо бескозырку и засопел.

## 28

Замысел поместить Изотова в семнадцатую камеру принадлежал Бродскому, не такому уж простому парню. В последнее время его довели до белого каления бесчисленные жалобы на жестокость новой власти. В результате новая власть второй раз вынуждена была наказывать вернейших людей, и все из-за семнадцатой камеры. А потому он принял иезуитское, но единственно логичное решение: всех этих людей, требовавших наказания для виновных, следовало проучить раз и навсегда. Бойтесь ваших молитв, ибо молитвы ваши будут услышаны. Изотова, безусловно, следовало арестовать как нарушителя революционной дисциплины, но поместить его надо было к тем, кто своими руками отправил Шергина и Кошкарева в Лазаревскую больницу. Бродский воображал, какую жизнь устроит им Изотов, – и не ошибся.

В шестом часу Изотов заворочался и сел на нарах. Некоторое время он соображал, где находится, потом все вспомнил, плюнул, высморкался и усмехнулся.

– Ну вот что, сердешные, – сказал он бодро, выходя на середину камеры. – Осталось вам немного, и кто первой отсюда выйдет в деревянном бушлате, тому остальные позавидуют хорошей завистью. Направлен я к вам, сами понимаете, не просто так. Жизнь у вас пойдет с этого дня интересная, бойкая жизнь. Заскучали вы што-та, закисло своим кружком. Боевой дух нужен. А так что ж, никакой дисциплины, одно разложение. Жить будем задумчиво, в сердешной дружбе. – Он легко воспроизводил дурашливый деревенский стиль, хотя много знал, читал и не зря вырос до старшины второй статьи. – Ну-к што ж, огласим распорядок нового нашего уставного жития. Как скляночки прозвенят шесть, так будет у нас маршировка на месте под мою команду. Ежели нет охоты маршировать, так можно и ползком. Кто марширует молодцевато, тому лишнюю паечку – в подарок от того, кто марширует немолодцевато. Затем чтение вслух, интересные занимательные рассказы, вы народ культурный, я послушаю. Чесать пятки не прошу, не царское время. В обед поощрение лучшего рассказчика, а потом, сердешные, сладкий сон, как у бабки на печке. В это время, сами знаете, люблю тишину. Вечером по распорядку – кто поет, кто сказки сказывает. Опять же не без упражнений. В нашем положении тело блюсти – это самое первейшее де...

Договорить он не успел, потому что один из обитателей семнадцатой камеры стремительным прыжком достиг Изотова, сшиб его с ног и вцепился в глотку. Удар был так силен, что Изотов в первые секунды не мог сопротивляться – так и рухнул на пол всей массой, и, пользуясь этим, нападающий сильнее и сильнее давил на его бычью шею. Кто напал – разглядеть было невозможно. Изотов хрипел, ворочался, беспомощно шлепал руками по полу, – одну руку нападающий прижимал коленом. Никто не бросился на помощь – то ли страх удерживал обитателей семнадцатой камеры, то ли остатки чести: куда вдвоятером на одного, хотя бы и матроса? Страх не так легко отличить от понятий о чести; верно и обратное. Лишь когда хрип Изотова начал слабеть и переходить в бульканье, все словно очнулись.

– Оставьте, оставьте его! – закричал Ватагин.

– Убьете, тогда нам всем конец! – вторил Бельчевский.

– Да кто это, черт вас возьми! – орал Карамышев. Темная фигура выпрямилась. Туша Изотова неподвижно лежала на полу.

– Я, Гротов, – сказал Гротов.

– Да вы убили, убили его! – Ватагин боялся тронуться с места, чтобы убедиться в своей правоте.

– Хорошо бы, – задыхаясь, ответил Гротов. – Хоть раз в жизни... сделал, что хотел. Бельчевский вскочил и заколотил в дверь.

– Надзиратель! – завизжал он. – Над-зи-ра-тель! Крюков просунулся в дверь.

– Что, дает вам Коленька жару? – спросил он весело.

– Забирай своего Коленьку, – сказал Гротов. – Недолго он тут... жару давал... Начальству своему скажешь, что Гротов его отдохнуть отправил. Гротов, запомнил? Башка-то дырявая, вылетит. Забирай, а то и впрямь помрет.

Крюков испугался заходить в камеру один. Он поспешно запер дверь, протопотал по коридору и вернулся в сопровождении трех других матросов, неся с собой «летучую мышь». Один караульный стал у двери, двое других бросились к лежащему Изотову, подхватили неподвижное тело и, согнувшись, вынесли. Крюков вышел последним.

– За Коленьку... – прохрипел он рыдающим голосом. – За Коленьку... О, падаль буржуйская! Флотским братством клянусь, – если с Коленькой что... тот, кто Коленьку... жив не будет! Зубами, зубами загрызу, никто не спасет! Лично говорю!

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.